

Несвоевременные размышления

Часть вторая.

О пользе и вреде истории для жизни

пер. Я. Бермана, А. и Е. Герцык

По изд.: Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии. – М.: Культурная революция, 2005 – Т. 1/2: Несвоевременные размышления. Из наследия 1872–1873 гг. / Пер. с нем. В. Бакусева, В. Нежежиной, И. Эбаноидзе и др.; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2013. – 480 с. – С.83-172

Предисловие

«Мне, впрочем, ненавистно все то, что лишь поучает меня, не способствуя моей деятельности или не вдохновляя меня самым непосредственным образом». Эти слова Гёте, это его прямодушное *ceterum censeo*¹ могли бы служить вступлением к нашему рассуждению о положительной или отрицательной ценности истории. Ибо в приведенных здесь размышлениях мы намерены показать, почему поучение без оживления, почему знание, сопряженное с ослаблением деятельности, почему история как драгоценный избыток знания и роскошь нам должны быть, по выражению Гёте, всерьез ненавистны, – а именно потому, что мы нуждаемся еще в самом необходимом, и потому, что все излишнее есть враг необходимого. Конечно, нам нужна история, но мы нуждаемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с каким бы высокомерным пренебрежением последний ни смотрел на наши грубые и неизящные потребности и нужды. Это значит, что она нужна нам для жизни и деятельности, а не для удобного уклонения от жизни и деятельности или тем менее для оправдания себялюбивой жизни и трусливой и дурной деятельности. Лишь поскольку история служит жизни, постольку мы сами согласны ей служить; а между тем существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к захирению и вырождению жизни: явление, исследовать которое в связи с озадачивающими симптомами нашего времени теперь настолько же необходимо, насколько, может быть, и тягостно.

Я стремился описать ощущение, которое достаточно часто мучало меня; моей мезью ему пусть будет то, что я его теперь предаю гласности. Может быть, это описание побудит кого-нибудь заявить мне, что и он тоже испытал это ощущение, но что мне оно известно не в его чистом,

¹ притом я думаю (*лат.*).

первоначальном виде и что я выразил его далеко не с подбавляющей уверенностью и зрелостью понимания. Таково, может быть, мнение некоторых; большинство же скажет мне, что это – совершенно извращенное, неестественное, отвратительное и просто непозволительное ощущение или даже что я показал себя в нем недостойным того могущественного тяготения нашего времени к истории, которое, как известно, ясно обнаружилось за последние два поколения, в особенности среди немцев. Но, во всяком случае, тем, что я беру на себя смелость дать точное описание природы моих ощущений, я скорее способствую охране господствующих приличий, чем подрываю их, ибо я таким образом доставляю возможность многим рассыпаться в комплиментах перед вышеупомянутой тенденцией эпохи. Я же приобретаю для себя еще нечто, что мне гораздо дороже, чем общественное благоприличие, а именно – возможность получить публичное поучение и строгое наставление касательно нашей эпохи.

Эти размышления тоже несвоевременны, ибо в них я делаю попытку объяснить нечто, чем наше время не без основания гордится, а именно – его историческое образование, как зло, недуг и недостаток, свойственные времени, ибо я думаю даже, что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой и должны были бы, по крайней мере, сознаться в том, что страдаем ею. Если же Гёте был прав, когда утверждал, что, культивируя наши добродетели, мы культивируем также и наши пороки, и если, как это известно всем, гипертрофированная добродетель, каковой представляется мне историческое чувство нашей эпохи, может сделаться столь же губительной для народа, как и гипертрофированный порок, – то почему бы не дать мне возможности сказать то, что я думаю? К моему оправданию, не умолчу также и о том, что наблюдения, вызвавшие во мне вышеупомянутое мучительное ощущение, сделаны мною в значительной части над самим собою и только в целях сравнения – над другими и что я, оставаясь сыном своего времени, пришел к столь несвоевременным выводам лишь в той мере, в какой я вместе с тем являюсь питомцем прежних эпох, особенно греческой. Некоторое право на это дает мне, как мне думается, также и моя специальность классического

филолога: ибо я не знаю, какой еще смысл могла бы иметь классическая филология в наше время, как не тот, чтобы действовать несвоевременно, то есть вразрез с нашим временем, и благодаря этому влиять на него, – нужно надеяться, в интересах грядущей эпохи.

Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения и потому не зная ни меланхолии, ни пресыщения. Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье – ибо он, подобно животному, желает только одного: жить, не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное: «Почему ты мне ничего не говоришь о твоём счастье, а только смотришь на меня?» Животное не прочь ответить и сказать: «Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать», – но тут же оно забывает и этот ответ и молчит, что немало удивляет человека.

Но человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно появляется, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, – что это мгновение тем не менее возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого позднейшего мгновения. Непрерывно от свитка времени отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит: «Я вспоминаю» – и завидует животному, которое сейчас же забывает и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Столь *неисторически* живет животное: оно растворяется в настоящем, как целое число,

не оставляя по себе никаких странных дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает и в каждый данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого; последняя или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть. Поэтому его волнует, как воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое зрелище ребенка, которому еще нет надобности отречься от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также наступает конец: слишком рано отнимается у него способность забвения. Тогда научается он понимать значение слова «было», того рокового слова, которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, напоминает ему, что его существование, в корне, есть никогда не завершающееся Imperfectum. Когда же смерть приносит наконец желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, т.е. вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием.

Если счастье, если погоня за новым счастьем в каком бы то ни было смысле есть то, что привязывает живущего к жизни и побуждает его жить дальше, то может быть циник ближе к истине, чем всякий другой философ, ибо счастье животного, как самого совершенного циника, служит живым доказательством истинности цинизма. Самое крошечное счастье, если только оно непрерывно и делает человека счастливым, конечно, есть несравненно большее счастье, чем величайшее счастье, которое появляется только как эпизод или, так сказать, как мимолетное настроение, как безумный каприз среди постоянных страданий, страстей и лишений. Но как для самого маленького, так и для самого большого счастья существует только одно, что делает счастье счастьем: способность забвения, или, выра-

жаясь более научно, способность в течение того времени, пока длится это счастье, чувствовать неисторически. Кто не может замереть на пороге мгновения, забыть все прошлое, кто не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно богине победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье, или, еще хуже: он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми других. Представьте себе как крайний пример человека, который был бы совершенно лишен способности забывать, который был бы осужден видеть повсюду только становление: такой человек потерял бы веру в свое собственное бытие, в себя самого, для такого человека все расплылось бы в ряд движущихся точек, и он затерялся бы в этом потоке становления: подобно верному ученику Гераклита, он в конце концов не нашел бы в себе мужества пошевелить пальцем. Всякая деятельность нуждается в забвении, подобно тому, как всякая органическая жизнь нуждается не только в свете, но и в темноте. Человек, который пожелал бы переживать все только исторически, был бы похож на того, кто вынужден воздерживаться от сна, или же на животное, осужденное жить только все новым и новым пережевыванием одной и той же жвачки. Таким образом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно и безусловно немислимо жить без возможности забвения вообще. Или, чтобы еще проще выразить мою мысль: *существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будь то отдельный человек, или народ, или культура.*

Чтобы найти эту степень и при помощи ее определить границу, за пределами которой прошедшее подлежит забвению, если мы не желаем, чтобы оно стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, как велика *пластическая сила* человека, народа или культуры; я разумею силу самобытно расти из себя самого, претворять и поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны, возмещать утраченное и восстанавливать из себя самого разбитые формы. Существуют люди, которые обладают этой силой в столь незначительной степени, что они, как от крошечного пореза,

неисцелимо истекают кровью от одного единственного переживания, одного единственного страдания, часто даже от одной какой-нибудь легкой несправедливости; с другой же стороны, есть и такие, которых самые дикие и самые ужасные невзгоды или даже их собственные злые деяния трогают столь мало, что они даже среди всего этого или вскоре после этого достигают сносного самочувствия и некоторого спокойствия совести. Чем глубже у человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он усвоить себе или переработать по-своему; и если бы мы пожелали представить себе наиболее могучую и наиболее необузданную натуру, то мы могли бы узнать ее по тому, что для нее историческое чувство не имело бы никакой границы, за которой оно могло бы оказывать вредное или разрушительное влияние; все прошедшее, будь оно глубоко свойственным или совершенно чуждым, такая натура впитывала бы в себя и словно бы претворяла в свою кровь. А то, чего не могла бы подчинить себе, она сумела бы забыть; оно бы не существовало для нее, горизонт ее был бы замкнут и закончен, и ничто не могло бы напомнить ей, что по ту сторону этого горизонта существуют люди, страсти, учения, цели. И это всеобщий закон: все живое может стать здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного горизонта; если же оно не способно ограничить себя известным горизонтом и в то же время слишком эгоцентрично, чтобы заключить свой взгляд в пределы чужого, то оно истощается, увядая, или порывисто идет к преждевременной гибели. Веселость, спокойная совесть, радостная деятельность, доверие к грядущему – все это зависит как у отдельного человека, так и у народа от того, существует ли для него линия, которая отделяет доступное зрению и светлое от непроницаемого для света и темного, зависит от того, умеет ли он одинаково хорошо вовремя забывать, как и вовремя вспоминать, от способности здравого инстинкта определять, когда нужно ощущать исторически и когда – неисторически. Отсюда положение, к рассмотрению которого я приглашаю читателя: *историческое и неисторическое одинаково необходимы для здоровья отдельного человека, народа и культуры.*

Относительно сказанного каждый очевидным образом может сделать следующее наблюдение: исторические

знание и чувство человека могут быть весьма ограничены, его горизонт может быть так же сужен, как горизонт обитателя альпийской долины, в каждое суждение он может вкладывать какую-нибудь несправедливость, в каждый опыт – ложное убеждение, что он первый его сделал, – и, несмотря на всю свою несправедливость и все свои ошибки, он будет стоять перед нами в своем неискоренимом здоровье, полон сил, и радовать все взоры, в то время как рядом с ним несравненно более справедливый и образованный человек болеет и падает вследствие того, что линии его горизонта постоянно беспокойно передвигаются и что он поэтому никак не может выпутаться из несравненно более тонкой сети своей справедливости и истины, чтобы снова вернуться к непосредственным желаниям и влечениям. С другой стороны, мы видели животное, которое, будучи совершенно лишено исторического чувства и заключено внутри горизонта, сводящегося чуть ли не к одной точке, наслаждается тем не менее неким счастьем или по крайней мере живет, не зная пресыщения и притворства; поэтому мы должны считать способность чувствовать в известной степени неисторически более важной и более первоначальной, поскольку она является фундаментом, на котором только вообще и может быть построено нечто правильное, здоровое и великое, нечто подлинно человеческое. Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой только и возникает жизнь с тем, чтобы вновь исчезнуть с уничтожением этой атмосферы. И вправду, только благодаря тому, что человек может при помощи мысли, обдумывания, сравнения, отделения и соединения ввести в границы этот неисторический элемент, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света, – то есть только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и вновь превращать произошедшее в историю, человек делается человеком; но в избытке истории человек снова перестает быть человеком, а без упомянутой оболочки неисторического он никогда бы не начал и не отважился ничего начать. Где мы найдем те деяния, которые человек мог бы совершить, не войдя сперва в туман неисторического? Или, оставляя в стороне образы и прибегая для иллюстра-

ции этой мысли к примеру, представим себе человека, которого бросает во все стороны и влечет какая-нибудь сильная страсть к женщине или к великой идее: как изменяется для него его мир! Оглядываясь назад, он чувствует себя слепым; когда прислушивается к чему-нибудь со стороны, все чужое кажется ему глухим шумом, лишенным всякого значения; все же, что он вообще способен теперь воспринимать, никогда он еще не воспринимал столь ощутимо близким, столь красочным, звучащим, освещенным, как бы действующим на все его чувства одновременно. Все его оценки подверглись изменению или потеряли прежнее значение; многого он совсем не может более ценить, ибо почти вовсе не ощущает его: он спрашивает себя, неужели он так долго был рабом чужих слов, чужих мнений; он удивляется тому, что его память неутомимо вращается все в том же круге и в то же время слишком слаба и утомлена, чтобы хоть раз решиться сделать скачок за пределы этого круга. Это самое несправедливое на свете состояние, ограниченное, неблагодарное к прошлому, слепое к опасностям, глухое к предупреждениям, маленький живой водоворот в мертвом море ночи и забвения; и все-таки это состояние – будучи глубоко неисторическим и антиисторическим – является лоном, порождающим не только несправедливое, но, скорее, всякое действительное деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоеует свободы, если все они в подобном неисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней. Как всякий деятель, по выражению Гёте, всегда бессовестен, так же он и чужд знанию, он забывает все остальное, чтобы достигнуть одного, он несправедлив к тому, что лежит позади его, и знает только одно право – право того, что в данную минуту должно совершиться. Поэтому каждый деятель любит свое деяние в бесконечно большей степени, чем оно этого заслуживает; и лучшие деяния совершаются при таком избытке любви, которого они во всяком случае не могут заслуживать, как бы неизмеримо велика ни была вообще их ценность.

Если бы кто получил возможность в целом ряде случаев проникнуть в ту неисторическую атмосферу, в которой возникает каждое великое историческое событие, и подышать

ею некоторое время, то такой человек сумел бы, может быть, как познающее существо, возвыситься до *над-исторической* точки зрения, на которую Нибур однажды указал как на возможный результат исторических размышлений. «Для одной цели, по крайней мере, – говорит он, – пригодна история, ясно и основательно понятая: она показывает, что даже величайшие и гениальнейшие представители нашего человеческого рода не сознают, насколько случайно их глаз принял ту форму, через которую они не только сами смотрят, но и насильственно заставляют смотреть всех других, – насильственно потому, что интенсивность их сознания необыкновенно велика. Кто не знает и не понял этого совершенно определенно и на основании целого ряда случаев, того порабощает явление могучего духа, вкладывающего в данную форму высшее напряжение страсти». Над-исторической мы могли бы назвать эту точку зрения потому, что тот, кто стоит на ней, мог бы навсегда потерять охоту жить дольше и участвовать в исторической работе, постигнув с полной ясностью важнейшее условие всякой деятельности, именно ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля; он был бы даже излечен от чрезмерного уважения к истории: ведь он научился бы по поводу каждого человека, по поводу каждого события греческой или турецкой истории времен первого или девятнадцатого столетия давать себе ответ на вопрос, как и для чего мы живем. Тот, кто вздумал бы спросить своих знакомых, желали бы они еще раз пережить последние десять или двадцать лет, мог бы легко подметить, кто из них имеет задатки для той над-исторической точки зрения, о которой мы упоминали выше; правда, что они все ответили бы, вероятно, на этот вопрос: «нет», но они указали бы различные основания для этого «нет». Одни, может быть, для своего утешения скажут: «следующие двадцать будут лучше». Это те, о которых Дэвид Юм насмешливо замечает:

And from the dregs of life hope to receive,
What the first sprightly running could not give¹.

1 От остатков жизни они надеются получить то, чего не смогло дать первое страстное движение (*англ.*). См. прим.

Таких людей мы назовем историческими; всякое обращение к прошлому вызывает в них стремление к будущему, распаляет в них стремление к будущему, распаляет в них решимость продолжать жизненную борьбу, воспаляет в них надежду на то, что нужное еще придет, что счастье скрывается за той горой, к которой они направляют свой путь. Эти исторические люди верят, что смысл существования будет все более раскрываться по ходу *процесса* существования, они оглядываются назад только затем, чтобы путем изучения предшествующих стадий процесса понять настоящее и научиться энергичнее желать будущего; они не знают вовсе, насколько неисторически они мыслят и действуют, несмотря на весь свой историзм, и в какой степени их занятия историей являются служением не чистому познанию, но жизни.

Но тот же вопрос, на который мы получили первый ответ, может вызвать иногда и другой ответ. Правда, и он сведется к тому же «нет!», но к иначе обоснованному «нет», а именно – к «нет» над-исторического человека, который видит спасение не в процессе, но для которого мир в каждое отдельное мгновение представляется как бы остановившимся и законченным. Чему, в самом деле, могли бы еще научить новые десять лет, если это не удалось сделать предыдущим десяти годам!

Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиньации, в добродетели или в покаянии, в этом над-исторические люди никогда не были согласны между собой; но, в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее – это одно и то же, именно нечто, при всем видимом разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения. Сотни различных языков соответствуют тем же типически прочным потребностям человека, так что тот, кто понимал бы эти потребности, не смог бы из всех этих языков узнать ничего нового; точно так же над-исторический мыслитель освещает себе изнутри всю историю народов и отдельных личностей, восстанавливая в своем ясновидении первоначальный смысл различных исторических иеро-

глифов и постепенно даже уклоняясь от утомляющего притока все новых и новых письмен: ибо бесконечный преизбыток развертывающихся перед ним событий не может не вызывать в нем в конце концов чувства сытости, пресыщения и даже отвращения! Поэтому даже самый смелый между ними в конечном счете, может быть, готов сказать своему сердцу вместе с Джакомо Леопарди:

«Порывы твои
напрасны. Земля недостойна
и вздоха. Вся жизнь –
лишь горечь и скука. Трясина – весь мир.
Отныне наступит покой».

Но оставим над-историческим людям их отвращение и их мудрость: давайте лучше радоваться сегодня от всего сердца нашему неразумию и приветствовать в лице себя тех, кто деятельно идет вперед и поклоняется процессу. Пусть наша оценка исторического есть только предрассудок Запада – лишь бы мы в пределах этих предубеждений шли вперед, а не стояли на месте! Лишь бы мы могли постоянно делать успехи в одном – именно в изучении истории для целей *жизни!* Мы тогда охотно признаем, что над-исторические люди обладают большим запасом мудрости, чем мы; главное, чтобы мы только могли быть уверены, что у нас больше жизни, нежели у них: ибо тогда у нашего неразумия во всяком случае больше будущности, чем у их мудрости. И чтобы не оставить никаких сомнений в значении этой противоположности между жизнью и мудростью, я, пользуясь издавна известным и применявшимся всегда с успехом приемом, прямо выставлю несколько тезисов.

Историческое явление, всесторонне познанное в его чистом виде и претворенное в познавательный феномен, представляется для того, кто познал его, мертвым: ибо он узнал в нем заблуждение, несправедливость, слепую страсть и вообще весь темный земной горизонт этого явления и вместе с тем научился видеть именно в этом его историческую силу. Эта сила сделалась теперь бессильной для него, как познавшего, но, может быть, еще не сделалась таковой для него, как живущего.

История, понятая как чистая наука и ставшая самодержавной, представляет собой для человечества род окончательного расчета с жизнью. Историческое образование может считаться целительным и обеспечивающим будущее, только когда оно сопровождается новым могучим жизненным течением, например, нарождающейся культурой, то есть когда оно находится во власти и в ведении какой-нибудь высшей силы, а не владеет и ведет самостоятельно.

История, поскольку она сама состоит на службе у жизни, подчинена неисторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду такого своего подчиненного положения, чистой наукой вроде, например, математики. Вопрос же, в какой степени жизнь вообще нуждается в услугах истории, есть один из важнейших вопросов, связанных с заботой о здоровье человека, народа и культуры. Ибо при некотором избытке истории жизнь разрушается и вырождается, а вслед за нею вырождается под конец и сама история.

2

Что, тем не менее, жизнь нуждается в услугах истории, это должно быть понято с тою же ясностью, как и другое положение, которое будет доказано дальше, а именно – что избыток истории вредит жизни. История трояким образом служит живущему: как существу деятельному и стремящемуся, как существу охраняющему и почитающему и, наконец, как существу страждущему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности отношений соответствует тройственность родов истории, поскольку можно различать *монументальный, антикварный и критический* род истории.

История прежде всего потребна деятельному и мощному, тому, кто ведет великую борьбу, кто нуждается в образцах, учителях, утешителях и не может найти таковых между своими современниками и в настоящем. Так история нужна была Шиллеру: ибо наше время, по словам Гёте, так худо, что поэт не встречает более в окружающей его жизни нужной ему природы. Имея в виду деятельные природы, Полибий, например, называет политическую историю настоящей школой для подготовки к управлению государством и превос-

ходным учителем, который помогает нам мужественно выносить смены счастья, напоминая о несчастьях других. Кто научился усматривать именно в этом смысл истории, тому должно быть крайне досадно видеть, как любопытные путешественники или кропотливые педанты карабкаются по пирамидам великих эпох прошлого; там, где он находит стимулы к подражанию и усовершенствованию, ему противно встретить жадного до развлечений и сенсаций фланера, который прогуливается там как среди накопленных сокровищ картинной галереи. Деятельная натура, чтобы не потерять окончательно мужества и не почувствовать отращения среди дряблых и безнадежных празднотцев, среди мнимо деятельных, в действительности же только взволнованных и барахтающихся современников, оглядывается назад и прерывает свой стремительный бег к поставленной цели, чтобы немного перевести дух. Целью же своей деятель всегда избирает какое-либо счастье, если не свое собственное, то счастье целого народа или всего человечества; он бежит от резиньяции и пользуется историей как средством против резиньяции. Большею частью его не ждет никакая награда, а разве только слава, то есть право на почетное место в храме истории, где он может, в свою очередь, быть для следующих поколений учителем, утешителем и предостережением. Ибо его заповедь гласит: то, что однажды помогло развернуть и наполнить более прекрасным содержанием понятие «человек», должно присутствовать здесь вечно, чтобы вечно выполнять это назначение. Что великие моменты в борьбе индивидуума образуют одну цепь, что они, как горная гряда, сквозь тысячелетия объединяют собою человечество, что для меня вершина такого давно минувшего мгновения еще остается живой, освещенной и величавой, – все это есть коренная идея той веры в человечество, которая высказывает себя в требовании *монументальной* истории. Но именно вокруг требования, чтобы великое было вечным, и разгорается наиболее ожесточенная борьба. Ибо все прочее, что существует вокруг, кричит: «Нет!». Монументальное не должно появляться – вот противоположный лозунг. Тупая привычка, мелкое и низкое, заполняющее все уголки мира и окутывающее тяжелым земным туманом все великое, чтобы затормозить,

сбить его с толку, приглушить, задушить, бросается на тот путь, которым это великое шествует к бессмертию. Путь же этот проходит через человеческие умы! Умы запуганных и недолговечных зверей, которые постоянно погружены все в те же нужды и с трудом какое-то короткое время ограждают себя от гибели. Ибо они прежде всего хотят лишь одного: жить во что бы то ни стало. Кто мог бы ожидать от них того упорного состязания факелоносцев монументальной истории, благодаря которому лишь и существует великое? И все же вновь и вновь пробуждаются те, кто, оглядываясь на величие прошлого и подкрепленные созерцанием его, чувствуют в себе такое воодушевление, как если бы человеческая жизнь была чем-то восхитительным и как если бы прекраснейшим плодом этого горького урожая было знание о том, что один некогда прошел через это существование гордо и мощно, другой – с глубиной проникновения, третий – с сочувствием и готовностью помочь другим, но все они – оставив после себя учение о том, что лучше всего проживает жизнь тот, кто ни во что ее не ставит. И в то время, как заурядный человек воспринимает свой отрезок бытия с такой унылой серьезностью и страстным упованием, те, на своем пути к бессмертию и к монументальной истории, умели встречать жизнь с олимпийским смехом или, по крайней мере, с возвышенной насмешкой; нередко они с иронией сходили в могилу – ибо что в них могло быть погребено! Разве только то, что всегда угнетало их, как мусор, тлен, суетность и звериное начало, и что теперь обрекалось забвению, будучи уже давно заклеено их собственным презрением. Но одно будет жить – это монограмма их сокровеннейшего существа, их произведения, их деяния, редкие проблески их вдохновения, их творения; это будет жить, ибо ни одно из позднейших поколений не может обойтись без этого. В такой проясненной форме слава является все-таки чем-то большим, чем просто лакомым куском для нашего себялюбия, как ее характеризовал Шопенгауэр, ибо она есть вера в тесную связь и непрерывность великого всех эпох, она есть протест против смены поколений и преходящести.

Чем же, в таком случае, может быть полезно современному человеку монументальное воззрение на прошлое, т.е. изучение того, что является классическим и выдающим-

ся в прежних эпохах? Тем, что он научается понимать, что то великое, которое некогда существовало, было, во всяком случае, хоть раз *возможно*, и что поэтому оно может стать возможным когда-нибудь еще; он совершает свой путь с большим мужеством, ибо теперь сомнения в осуществимости его желаний, овладевающие им в минуты слабости, лишаются всякой почвы. Предположим, что кто-нибудь поверил, что для основательного искоренения вошедшей ныне в моду в Германии образованности достаточно сотни продуктивных, воспитанных в новом духе и деятельных людей – как сильно может ободрить его тот факт, что всю культуру эпохи Возрождения вынесла на своих плечах такая же кучка в сотню человек.

И все-таки – чтобы на том же примере тут же выяснить и нечто иное – насколько расплывчато и неустойчиво, насколько неточно было бы такое уподобление, сколь многое приходится игнорировать, чтобы это уподобление обрело силу импульса! К какому насилию приходится прибегать, чтобы втиснуть индивидуальность прошлого в одну общую форму и в целях полного соответствия обломать все ее острые углы и линии! В сущности, то, что было возможно однажды, могло бы снова сделаться возможным во второй раз лишь в том случае, если справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой констелляции небесных тел должны повторяться на земле одинаковые положения вещей вплоть до отдельных, незначительных мелочей; так что всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик соединялся бы с эпикурейцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб открывал бы Америку. Только в том случае, если бы Земля каждый раз разыгрывала сызнова свою пьесу после пятого акта, если бы с точностью было установлено, что через определенные промежутки времени снова будут возвращаться то же сплетение мотивов, тот же *deus ex machina*, та же катастрофа, могучий человек мог бы пожелать монументальной истории в ее полной иконической *истинности*, то есть каждого факта в его точно установленной особенности и индивидуальности – стало быть, вероятно, не ранее того, как астрономы снова превратятся в астрологов. Но до наступления этого момента монументальная история не может нуждаться

ся в такой полной истинности: она всегда будет сближать разнородные элементы, обобщать и, наконец, отождествлять их; она всегда будет смягчать различия мотивов и побуждений, чтобы за счет *causae* представить *effectus* в монументальном виде, именно как нечто типичное и достойное подражания; ввиду того, что она по возможности игнорирует причины, ее можно было бы назвать почти без преувеличения собранием «эффектов самих по себе» – таких событий, которые во все времена будут производить эффект. То, что народ празднует в своих празднествах или во время религиозных или военных годовщин, и есть, в сущности, такой «эффект сам по себе»; именно он не дает спать честолюбивым людям, его, как амулет, носят на сердце предприимчивые натуры, а вовсе не действительное историческое *сплетение* причин и следствий, которое, всесторонне исследованное, могло бы служить только доказательством того, что в азартной игре будущего и случая никогда не выпадает до конца одинаковая комбинация.

До тех пор, пока душа историографии будет заключаться в тех великих *побуждениях*, которые черпает из него могучая личность, пока прошлое будет изображаться как нечто достойное подражания и как доступное подражанию и могущее повториться еще раз, – до тех пор истории, конечно, грозит опасность подвергнуться некоторому искажению, приукрашиванию и в силу этого сближению со свободным вымыслом; мало того, были эпохи, которые совершенно не могли провести границу между монументальным прошлым и мифического характера фикцией; ибо как из того, так и из другого мира могут быть извлечены одинаковые стимулы. Если поэтому монументалистское изображение прошлого *господствует* над остальными способами исторического описания, то есть над антикварным и критическим, то от этого *страдает* прежде всего само прошлое: целые значительные отделы прошлого предаются забвению и пренебрежению и образуют как бы серый, однообразный поток, среди которого возвышаются, как острова, отдельные разукрашенные факты; в редких личностях, которые выделяются на этом фоне, бросается в глаза нечто неестественное и чудесное вроде золотого бедра, которое ученики Пифагора мнили видеть у своего учителя. Монументальная

история вводит в заблуждение при помощи аналогий: мужественных она путем соблазнительных параллелей воодушевляет на подвиги отчаянной смелости, а одушевление превращает в фанатизм; когда такого рода история западает в головы талантливых эгоистов и мечтательных злодеев, то в результате подвергаются разрушению царства, убиваются властители, начинаются войны и революции, и число исторических «эффектов самих по себе», то есть следствий без достаточных причин, снова увеличивается. До сих пор шла речь о бедах, которые может натворить монументальная история в среде могучих и деятельных натур, безразлично, будут ли эти последние добрыми или злыми; но можно себе представить, каким окажется ее влияние, если она окажется во власти и в услужении бессильных и бездеятельных!

Возьмем самый простой и наиболее распространенный пример. Представим себе нехудожественные и малохудожественные натуры во всеоружии средств, которые может дать монументальная история искусства. Против кого они обратят теперь свое оружие? Против своих наследственных врагов, против людей с сильно выраженной художественной индивидуальностью, то есть против тех, кто одни были бы в состоянии действительно научиться у этого рода истории – научиться тому, что нужно для жизни, и превратить воспринятое в более высокую практику. Но им-то и преграждают путь, им-то и заслоняют свет, кружась с необыкновенным усердием в какой-то идолопоклоннической пляске вокруг наполовину понятого величавого образа какого-нибудь великого прошлого и как бы желая этим сказать: «Смотрите, вот истинное и настоящее искусство; какое вам дело до ищущих и чающих!» По-видимому, эта пляшущая толпа присвоила себе даже привилегию «хорошего вкуса»: ибо всегда творческие натуры оттеснялись теми, кто был только зрителем и сам не прикладывал рук к делу, точно так же, как во все эпохи политические болтуны казались умнее, справедливее и рассудительнее правящих государственных мужей. Если же мы перенесем в область искусства обычай всенародного голосования и преобладание численного большинства и заставим художника защищать свое дело как бы перед трибуналом эстетических бездельников, то можно заранее поклясться, что он будет осужден, и осуж-

ден не вопреки, а именно *благодаря* тому, что его судьи торжественно провозгласили канон монументального искусства (то есть того, которое, согласно данному нами объяснению, во все времена «производило эффект»): ведь у них нет ни потребности в современном искусстве, ни бескорыстной склонности к нему – то есть к такому, которое еще не успело сделаться монументальным и не освятилось для них авторитетом истории искусства. Напротив, их инстинкт подсказывает им, что искусство может быть убито искусством же: монументальное не должно ни в каком случае вновь возникать, а для этой цели именно пригодно то, что однажды уже заручилось в прошлом авторитетом монументального. Таким образом, они – ценители искусства потому, что они вообще хотели бы упразднить искусство; они выдают себя за врачей, тогда как они в сущности задаются целью отравить искусство; они совершенствуют свой язык и свой вкус только для того, чтобы в своей изоэпшенности найти оправдание упорному отказу от предлагаемых им питательных художественных блюд. Ибо они вовсе не хотят, чтобы было создано что-нибудь великое: средством для них служит фраза: «Смотрите, великое уже существует!» В действительности их так же мало трогает то великое, которое уже существует, как и то, которое возникает; об этом свидетельствует вся их жизнь. Монументальная история есть то маскарадное платье, под которым их ненависть к могучим и великим личностям их эпохи выдает себя за удовлетворенное преклонение пред великими и могучими личностями прошедших времен; этот маскарад нужен также для того, чтобы истинный смысл этого способа исторического рассмотрения подменить противоположным: сознают ли они это ясно или нет, но, во всяком случае, действуют они так, как будто их девиз: «Пусть мертвые погребают живых».

Каждый из существующих трех типов истории может законно развиваться лишь на известной почве и в известном климате, на всякой другой почве он вырождается в сорную траву, заглушающую здоровые побеги. Если человек, желающий создать нечто великое, вообще нуждается в прошлом, то он овладевает им при помощи монументальной истории; кто, напротив, желает оставаться в пределах привыч-

ного и освященного преданием, тот смотрит на прошлое глазами историка-антиквара, и только тот, чью грудь теснит забота о нуждах настоящего и кто задался целью сбросить с себя какую бы то ни было ценою угнетающую его тягость, чувствует потребность в критической, то есть судящей и осуждающей, истории. Бесцельное пересаживание растений порождает немало зла: критикующий без нужды, антиквар без пиетета, знаток великого без способности к великому суть именно такие заросшие сорной травой, оторванные от родной почвы и поэтому выродившиеся растения.

3

Итак, история, во вторую очередь, принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что он есть; этим благоговейным отношением он как бы погашает долг благодарности за самый факт своего существования. Заботливой рукой оберегая издавна существующее, он стремится сохранить в неприкосновенности условия, среди которых он развился, для тех, которые должны прийти после него, – и в этом выражается его служение жизни. В такой душе «скарб отцов» получает совершенно иной смысл: если предки владели им, то теперь он владеет этой душой. Все мелкое, ограниченное, подгнившее и устарелое приобретает свою особую, независимую ценность и право на неприкосновенность вследствие того, что консервативная и благочестивая душа антикварного человека как бы переселяется в эти вещи и устраивается в них, как в уютном гнезде. История родного города становится его собственной историей; городские стены, башни на городских воротах, постановления городской думы, народные празднества ему так же знакомы и близки, как украшенный картинками дневник его юности; он открывает самого себя во всем этом, свою силу, свое усердие, свои удовольствия, свои суждения, свою глупость и свои причуды. Здесь жилось недурно, говорит он, ибо и сейчас живет недурно; здесь можно будет жить недурно и в будущем, ибо мы достаточно упорны и с нами не так-то легко справиться. При

помощи этого «мы» он поднимается над уровнем преходящего загадочного индивидуального существования и представляется самому себе гением своего дома, рода и города. Подчас он даже через далекие затемняющие и сбивающие с пути столетия приветствует душу своего народа как свою собственную; способность проникать в сокровенный смысл событий, предчувствовать этот смысл, способность идти по почти стершимся следам, инстинктивное умение правильно читать перекрывающие друг друга письмена прошлого, быстрое расшифровывание палимпсестов и даже полипсестов – вот его таланты и добродетели. Во всеоружии последних стоял некогда Гёте пред памятником Эрвина фон Штейнбаха; в буре овладевших его душой чувств порвалась историческая туманная завеса, отделявшая его от той эпохи; он в первый раз снова увидел создание немецкого духа, «явленное сильной, суровой германской душой». Такой же инстинкт и такие же чутье и влечение руководили итальянцами эпохи Возрождения и пробудили в их поэтах античный гений Италии к новой жизни, к «чудесному новому звону древней музыки струн», как выразился Якоб Буркхардт. Но наивысшую ценность имеет такой исторически-антикварный инстинкт благоговения там, где он озаряет скромные, суровые и даже убогие условия, в которых живет отдельный человек или народность, светом простого, трогательного чувства веселья и довольства; Нибур, например, с искренней прямоотой сознается в том, что прекрасно может жить среди степей и болот, у вольных крестьян, имеющих свою историю, нисколько не страдая от отсутствия искусства. Чем могла бы история лучше служить жизни, как не тем, что она привязывает даже и менее избалованные судьбой поколения и народности к их родине и родным обычаям, делает их более оседлыми и удерживает от стремления искать счастья на чужбине и бороться за него с другими? По временам кажется, что это упрямство и неразумие как бы пригвозждают отдельную личность к этим товарищам и окружению, к этому исполненному лишений привычному существованию, к этим голым утесам; но в действительности это – самое благотворное и полезное для общества неразумие, как хорошо известно каждому, кто ясно представляет себе ужасные последствия страсти к переселениям, в

особенности когда она овладевает целыми группами народов, или кто наблюдал вблизи состояние народа, потерявшего преданность своему прошлому и отдавшегося неутомимому космополитическому выбору и поиску все новых форм. Противоположное этому чувство, чувство благополучия дерева, пустившего прочные корни, счастье сознавать себя не таким уж случайным и произвольным, но наследием, цветом и плодом известного прошлого и благодаря этому прощенным и даже оправданным в своем существовании, – вот что теперь предпочитают называть истинным историческим чувством.

Разумеется, это не то состояние, в котором человек наиболее способен переработать прошлое в чистое знание, так что мы и тут можем наблюдать то же, что наблюдали и в области монументальной истории: само прошлое неизбежно подвергается искажению, пока история призвана служить жизни и пока она подчинена власти жизненных инстинктов. Или, прибегая к несколько вольному сравнению: дерево скорее чувствует свои корни, чем видит их, сила же этого чувства измеряется для него величиной и мощностью видимых для него ветвей. Если дерево может заблуждаться уже в этом, то как же оно должно заблуждаться относительно всего окружающего его леса, о котором оно что-то знает и ощущает лишь постольку, поскольку этот лес задерживает его собственный рост или способствует ему – и ничего более.

Антикварное чувство отдельной личности, городской общины или целого народа ограничено очень тесными горизонтами; многого они вовсе не замечают, а то немногое, что входит в круг их зрения, они видят слишком близко и оторванно от целого; они не находят для него подходящего масштаба, поэтому считают все одинаково важным и тем придают слишком большое значение каждому отдельному явлению. Кроме того, для явлений прошлого нет никаких ценностных различий и пропорций, которые действительно сравнивали бы друг с другом эти явления, но всегда лишь меры и пропорции явлений по их отношению к личностям или народам, с антикварным интересом оглядывающимся назад.

Тут-то всегда зреет новая опасность: в конце концов может настать день, когда все старое и прошлое, что толь-

ко попадет в поле зрения, будет без дальнейших рассуждений признано равно достойным уважения, а все, что не согласится преклониться перед этой стариной, то есть все новое и возникающее, будет отклонено и воспринято с враждебностью. Так, даже греки мирились с существованием в их изобразительном искусстве иератического стиля наряду со свободным и великим; впоследствии же они не только мирились с острыми носами и ледяной улыбкой, но даже усматривали в них особую изысканность вкуса. Когда чувства народа делаются настолько грубыми, когда история служит минувшей жизни так, что подрывает дальнейшую, и в особенности высшие ее формы, когда историческое чувство народа не сохраняет, а бальзамирует жизнь, – тогда дерево умирает, и притом, вразрез с естественным порядком вещей, умирает постепенно, начиная от вершины и кончая корнями, которые обыкновенно также в конце концов погибают. Сама антикварная история вырождается, когда живая современная жизнь перестает ее одухотворять и одушевлять. Тогда умирает благоговейное отношение к истории, остается только известный ученый навык, эгоистически самодовольно вращающийся вокруг своего центра. Тут-то нашим взорам открывается отвратительное зрелище слепой страсти к собиранию фактов, неутомимого накапливания всего, что когда-либо существовало. Человек окружает себя атмосферой затхлости; ему удается благодаря антикварной манере низвести даже более выдающиеся способности и более благородную потребность на уровень ненасытного любопытства к новому или, точнее, любопытства к старому и всезнайства; часто же он падает так низко, что под конец довольствуется всякой пищей и с удовольствием глотает даже пыль библиографических мелочей.

Но даже когда такое вырождение не наблюдается, когда антикварная история не теряет из-под ног почвы, на которой она только и может произрастать на благо жизни, все-таки опасность еще не может считаться совершенно устраненной, именно если антикварная история развивается слишком пышно и своим ростом заглушает развитие других методов изучения прошлого. Ведь она способна только *сохранять* жизнь, а не порождать ее, поэтому она всегда приуменьшает значение нарождающегося, не обладая для

правильной оценки его тем чутким инстинктом, каким располагает, например, монументальная история. Благодаря этому она задерживает энергичную решимость на новое, парализует силы деятеля, который в качестве такового всегда будет и должен оскорблять некоторые святыни. Самый факт, что известная вещь успела состариться, порождает теперь требование признать за ней право на бессмертие: ибо если подсчитать все, что такой обломок старины – старый обычай отцов, религиозное верование, унаследованная политическая привилегия – успел испытать в течение своего существования, если подсчитать сумму благоговения и поклонения, которыми он окружался со стороны отдельных лиц или поколений, то представляется большой дерзостью или даже кощунством требовать замены подобной старины какой-либо новизной, а такому громадному скоплению благоговений и поклонений противопоставлять единицы нового и современного.

Не ясно ли теперь, насколько необходим подчас человеку наряду с монументальным и антикварным способами изучения прошлого также *третий* способ – *критический*, но и в этом случае только в целях служения жизни. Человек должен обладать и время от времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор; но всякое прошлое достойно того, чтобы быть осужденным – ибо таковы уж все человеческие дела: всегда в них мощно сказывались человеческая сила и человеческая слабость. Не справедливость здесь творит суд и не милость диктует приговор, но только жизнь как некая темная, влекущая, ненасытно и страстно сама себя ищущая сила. Ее приговоры всегда немилостивы, всегда пристрастны, ибо они никогда не проистекают из чистого источника познания; но если бы даже приговоры были продиктованы самой справедливостью, то в громадном большинстве случаев они не были бы иными. «Нет в мире вещи, *стоящей* пощады. Творенье не годится никуда». Нужно очень много силы, чтобы быть в состоянии жить и забывать, до какой степени это одно и то же – жить и быть несправедливым. Даже Лютер

выразился однажды, что мир обязан своим возникновением забывчивости Бога: дело в том, что если бы Бог вспомнил о «тяжелых орудиях», то он не сотворил бы мира. Но по временам та же самая жизнь, которая нуждается в забвении, требует временного прекращения способности забвения; это происходит, когда необходимо пролить свет на то, сколько несправедливости заключается в существовании какой-нибудь вещи, например известной привилегии, известной касты, известной династии, и насколько эта самая вещь достойна гибели. Тогда прошлое ее подвергается критическому рассмотрению, тогда подступают с ножом к ее корням, тогда жестоко попираются все святыни. Но это всегда очень опасная операция, опасная именно для самой жизни, а те люди или эпохи, которые служат жизни этим способом, то есть привлекая прошлое на суд и разрушая его, суть опасные и сами подвергающиеся опасности люди и эпохи. Ибо так как мы непременно должны быть продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ними нашим происхождением. В лучшем случае мы приходим к конфликту между унаследованными нами, присущими нам свойствами и нашим познанием, может быть, к борьбе между новой, суровой дисциплиной и усвоенным воспитанием и врожденными навыками, мы стараемся вырастить в себе известную новую привычку, новый инстинкт, вторую натуру, чтобы таким образом искоренить первую натуру. Это как бы попытка создать себе *a posteriori* такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в противоположность тому, от которого мы действительно исходим, – попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но все же победа иногда удается, а для борющихся, для тех, кто пользуется

критической историей для целей жизни, остается даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой.

4

Таковы услуги, которые может оказать жизни история; каждый человек и каждый народ нуждается, смотря по его целям, силам и потребностям, в известном знакомстве с прошлым, в форме то монументальной, то антикварной, то критической истории, но нуждается в этом не как сборище чистых мыслителей, ограничивающихся одним созерцанием жизни, и даже не как отдельные единицы, которые в жажде познания могут удовлетвориться только познанием и для которых расширение этого последнего является самоцелью, но всегда в виду жизни, а следовательно, всегда под властью и верховным руководством этой жизни. Что таково естественное отношение известной эпохи, известной культуры, известного народа к истории – вызываемое голодом, регулируемое степенью потребности, удерживаемое в известных границах внутренней пластической силой, – что, далее, знание прошлого во все времена признавалось желательным только в интересах будущего и настоящего, а не для ослабления современности, не для подрыва устоев жизнеспособности будущности, – это все очень просто, как сама истина, и ясно до очевидности даже тому, кто не считает необходимым требовать и по этому поводу исторических доказательств.

А теперь попробуем бросить беглый взгляд на наше время! Испуганные, мы в ужасе отступаем: куда исчезла вся ясность, вся естественность и чистота упомянутого отношения жизни к истории? Запутанной, преувеличенной, беспокойной встает теперь перед нами эта проблема! Быть может, в этом виноваты мы – исследователи? Или на самом деле констелляция жизни и истории изменилась благодаря тому, что между ними встала какая-то могучая и враждебная звезда? Пусть другие доказывают, что наше зрение обманывает нас; мы же расскажем то, что видим. Созвездие дей-

ствительно изменилось, потому что в него вступила новая, ослепительно сверкающая звезда – наука, и требование, чтобы история стала наукой. Теперь не одна жизнь царствует и подчиняет себе знание прошлого – нет, пограничные столбы вырваны, и все, что когда-либо было, обрушивается на человека. Все перспективы отодвигаются назад, к началу всякого развития, то есть в бесконечность. Ни перед одним поколением не открывалось еще такого необозримого зрелища, какое развертывает перед нами теперь наука о всеобщем развитии – история; правда, она руководится при этом весьма смелым, но опасным девизом: *fiat veritas, pereat vita*¹.

Попробуем теперь составить себе представление о том духовном процессе, который возникает при этом в душе современного человека. Словно из неиссякаемого источника, изливаются на человека все новые и новые потоки исторического знания, чуждое и лишнее связи надвигается на него, память широко отворяет свои двери, все же не будучи в состоянии вместить всего, природа прилагает все усилия, чтобы достойным образом принять, разместить и почтить чужестранных гостей, но эти последние враждуют между собой, и, по-видимому, она должна одолеть и подчинить себе всех их, чтобы не погибнуть самой в их столкновении. Привычка к такому беспорядочному, бурному и воинственному хозяйничанью становится постепенно второй натурой, хотя уже с самого начала ясно, что эта вторая натура гораздо слабее, гораздо беспокойнее и во всех отношениях менее здорова, чем первая. Современный человек вынужден под конец всюду таскать с собой невероятное количество неудобоваримых камней знаний, которые впоследствии при случае могут, как говорится в сказке, «изрядно стучать в желудке». Эта стукотня выдает существенное свойство современного человека – удивительное противоречие между внутренней сущностью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, которой не соответствует никакая внутренняя сущность, – противоречие, которого не знали древние народы. Знание, поглощаемое в избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и

1 пусть свершится истина, хотя бы погибла жизнь (*лат.*).

побуждающего проявиться вовне, и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает собственной ему лично «духовностью». В таких случаях обыкновенно говорят: содержание у нас есть, нам не хватает только формы; но для всего живого это совершенно недопустимое противоречие. Наша современная культура именно потому и имеет характер чего-то неживого, что ее совершенно нельзя понять вне этого противоречия, или, говоря иначе, она, в сущности, и не может вовсе считаться настоящей культурой; она не идет дальше некоторого знания о культуре, это – мысль о культуре, чувство культуры, она не претворяется в культуру-решимость. То же, что на самом деле действует как мотив, проявляясь в поступке, является часто не более как безразличной условностью, жалким подражанием или даже грубой гримасой. Внутреннее чувство в этом случае покоится, подобно той змее, которая, проглотив целого кролика, спокойно укладывается на солнце, избегая всяких движений, кроме самых необходимых. Внутренний процесс становится теперь самоцелью: он и есть истинная «культура». Такая культура может вызвать у каждого наблюдателя со стороны лишь одно пожелание – чтобы она не погибла от неудобоваримости своего содержания. Если мы представим себе, что в роли такого наблюдателя является грек, то последний, наверно, пришел бы к заключению, что для новых людей понятия «образованный» и «исторически образованный» переплелись так тесно между собой, как будто бы они были тождественны и отличались друг от друга только числом слов. Если бы он далее к этому прибавил еще, что можно быть очень образованным и не иметь в то же время никакого исторического образования, то многие подумали бы, что они ослышались, и, наверно, в ответ на это только покачали бы головой. Одна довольно известная небольшая народность не очень отдаленного прошлого – я разумею греков – в период своего величайшего могущества сумела упорно сохранять присущее ей неисторическое чувство; если бы современный человек каким-нибудь чудом был перенесен в эту атмосферу, он, по всей вероятности, нашел бы греков очень «необразованными», чем, правда, была бы раскрыта и отдана на всеобщее

посмешище столь тщательно скрываемая тайна современного образования, ибо мы, современные, ничего не имеем своего; только благодаря тому, что мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, мы становимся чем-то достойным внимания, а именно, ходячими энциклопедиями, за которые, может быть, нас и принял бы древний эллин, перенесенный в нашу эпоху. Ценность же энциклопедий заключена только в их содержании, то есть в том, что в них написано, а не в том, что значится на обложке – не во внешней оболочке, не в переплете. Точно так же и сущность всего современного образования заключается в его содержимом; на обложке же его переплетчик напечатал что-то вроде: «руководство по внутреннему образованию для варваров по внешности». Мало того, это противоречие между внешним и внутренним делает внешнее еще более варварским, чем оно было бы, если бы дело шло о каком-нибудь некультурном народе, развивающемся только из себя сообразно своим грубым потребностям. Ибо, в самом деле, какое средство остается природе, чтобы одолеть излишек напирającego со всех сторон? Конечно, только одно – воспринимать этот материал сколь можно легче, чтобы потом тем скорее устранить его и от него отделаться. Отсюда возникает привычка относиться к действительным вещам несерьезно; на этой почве образуется «слабая личность», вследствие чего действительное, существующее производит только незначительное впечатление; во внешнем выражении люди становятся все более пассивными и индифферентными, причем опасная пропасть между содержанием и формой все расширяется до тех пор, пока человек не сделается совершенно нечувствительным к проявлениям варварства, при условии, однако, чтобы память постоянно возбуждалась, чтобы не прекращался приток новых интересных явлений, которые могли бы быть опрятно разложены по ящикам этой памяти. Культура известного народа, взятая в ее противоположности варварству, была однажды определена не без некоторого основания как единство художественного стиля во всех проявлениях жизни этого народа; определение это, однако, не должно быть понимаемо в том смысле, что здесь имеется в виду противоположность между вар-

варством и прекрасным стилем; народ, за которым признается право на известную культуру, должен лишь во всякой действительности представлять собой некое живое единство и не распадаться столь безобразно на внешнюю и внутреннюю стороны, на содержание и форму. Кто стремится к развитию культуры того или иного народа или желает содействовать ей, тот должен стремиться к этому высшему единству и содействовать ему, работая над вытеснением современной образованности истинным образованием; он должен иметь смелость поставить себе ясно вопрос, каким образом может быть восстановлено подорванное историей здоровье народа и как последнему снова обрести свои инстинкты и вместе с ними свою честность.

Я имею в виду при этом главным образом нас, современных немцев, страдающих, более чем какой-либо другой народ, упомянутой слабостью личности и противоречием между содержанием и формой. Форма в глазах наших является лишь простой условностью, как некоторая маска или притворство, и потому она если и не внушает нам прямой ненависти, то, во всяком случае, не пользуется любовью. Еще правильнее было бы сказать, что мы испытываем какой-то необыкновенный страх перед словом «условность», да и перед самим фактом условности. Из-за этого страха немец ушел из школы французов: ибо он хотел стать более естественным и, следовательно, более немцем. Но, по-видимому, он просчитался в этом «следовательно»: освободившись от школы условности, он побрел, как и куда ему казалось более приятным, а проделывал теперь, в сущности нехотя и безалаберно и как бы спросонья, то же, чему он прежде столь старательно и часто небезуспешно подражал. Так живем мы, по сравнению с прежними временами, и поныне еще среди какой-то развязно-некорректной французской условности, как об этом свидетельствует вся наша манера ходить, стоять, беседовать, одеваться и жить. Думая возвратиться назад, к естественности, мы, в сущности, усвоили себе какую-то халатность, распушенность, желание как можно меньше утруждать себя. Стоит только пройтись по улицам немецкого города, чтобы увидеть, что вся наша условность, в сравнении с национальными особенностями иностранных городов, сказывается только на отрицатель-

ной стороне дела – все бесцветно, затаскано, плохо скопировано, небрежно. Каждый действует в силу своего собственного усмотрения, но не в силу мощного продуманного усмотрения, а по правилам, подсказанным прежде всего всеобщей торопливостью и затем всеобщим стремлением не очень обременять себя. Какая-нибудь одежда, изобретение которой не требует особенных усилий мысли, а надевание – особенной затраты времени, другими словами, одежда, заимствованная у иностранцев и сшитая по их образцу по возможности небрежно, у немцев сейчас же сходит *за дополнение* к немецкому национальному костюму. Чувство формы отрицается немцами чуть ли не с насмешкой – ибо ведь у них есть *чувство содержания*: недаром они славятся как народ внутренней содержательности.

Но эта внутренняя содержательность связана и с одной очень известной опасностью: само содержание, которое, согласно предположению, не проявляется ни в чем вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие. Но допустим, что немецкий народ очень далек от этой опасности; все-таки иностранцы всегда до известной степени правы, когда они упрекают нас в том, что наша внутренняя содержательность слишком слаба и неупорядоченна, чтобы проявить себя вовне и вылиться в определенную форму. Тем не менее, этот внутренний мир может отличаться особенно тонкой восприимчивостью, серьезностью, глубиной, искренностью, добротой и, быть может, более богат, чем у других народов; но как целое он остается слабым, ибо все эти прекрасные отдельные волокна не сплетаются в один мощный узел; поэтому видимое внешнее действие не может считаться проявлением и откровением целого внутреннего мира, а только слабой или грубой попыткой одного такого отдельного волокна выдать себя за целое. Поэтому о немце совершенно нельзя судить по одному его поступку, и индивидуальность его может и после этого поступка оставаться совершенно скрытой. Как известно, немца нужно судить по его мыслям и чувствам, а эти последние высказываются им в настоящее время в его книгах. Если бы только эти самые книги не возбуждали за последнее время, более

чем когда-либо, сомнения, продолжает ли действительно эта знаменитая внутренняя содержательность гнездиться в своем недоступном маленьком храме; а то возможна ужасная мысль, что эта внутренняя содержательность в один прекрасный день исчезла и что осталась только одна внешность – та высокомерно неуклюжая и униженно развязная внешность, которая составляет характерную особенность немца. Это было бы почти столь же ужасно, как если бы внутренний мир незаметно был в своем храме подменен другим, поддельным, подкрашенным и покрашенным, и превратился в комедианта, если не во что-либо еще худшее; так склонен был, например, думать на основании своего театрально-драматического опыта Грильпарцер, этот созерцательно-спокойный сторонний наблюдатель. «Мы ощущаем с помощью абстракций, – говорит он, – и мы едва ли можем себе представить, как выражается ощущение у наших современников; мы заставляем его проделывать скачки, которых оно теперь само не делает. Шекспир испортил всех нас, новейших писателей».

Это – единичный и, может быть, слишком быстро обобщенный факт; но как ужасно было бы, если бы мы действительно имели право обобщить его, если бы единичные факты такого рода слишком часто попадались на глаза наблюдателю, – каким отчаянием тогда звучал бы вывод: мы, немцы, ощущаем с помощью абстракции, мы все испорчены историей, – вывод, который мог бы подорвать в самом корне всякую надежду на грядущую национальную культуру: ибо всякая подобная надежда является продуктом веры в неподдельность и непосредственность немецкого чувства, веры в нетронутость внутреннего мира. К чему еще надеяться, к чему верить, когда самый источник веры и надежды замутился; когда наша внутренняя природа научилась делать скачки, плясать, румяниться, проявлять себя в абстрактной форме и с известным расчетом, постепенно утрачивая способность находить самое себя! И как может великий продуктивный ум долго выдержать среди народа, который не уверен больше в единстве своего внутреннего мира и который распался на две половины: на образованных с искаженным и запутанным внутренним миром и на необразованных с недоступным внутренним миром! Как

может он это выдержать, когда единство народного чувства утрачено, когда он, кроме того, знает, что именно чувства той части народа, которая называет себя образованной и заявляет претензии на представительство национального художественного духа, поддельны и подкрашены. Пусть даже в отдельных случаях суждение и вкус единиц сделались более утонченными и изощренными, – это не может его вознаградить: не мучительно ли для него чувствовать, что ему приходится говорить как бы для какой-то кучки сектантов и что он более не нужен в среде своего народа. Может быть, ему было бы приятнее теперь закопать в землю свои сокровища, ибо ему противно высокомерное покровительство секты в то время, когда его сердце полно любви ко всем. Инстинкт народа уже больше не идет ему навстречу; бесполезно раскрывать ему со страстной надеждой свои объятия. Что остается ему теперь делать, как не направить всю силу своей ненависти против этого связывающего его заклятия, против препятствий, воздвигаемых на его пути так называемой культурой его народа, чтобы заклеить, по крайней мере, в качестве судьбы, то, что для него, живого и творящего жизнь, означает разрушение и осквернение: таким образом он вынужден променять божественную радость творчества и содействия на глубокое сознание неотвратимости своей судьбы и окончить свое существование как одинокий мыслитель и пресыщенный знаниями мудрец. Это тягостнейшее из всех зрелищ: в каждом наблюдателе оно пробуждает чувство священной обязанности; он скажет себе: здесь нужна твоя помощь, ибо то высшее единство в природе и душе народа должно быть восстановлено и разрыв между внутренним и внешним должен исчезнуть под ударами молота нужды. К каким же средствам он должен теперь обратиться? Что ему остается опять-таки, кроме глубокого понимания? Высказывая свое убеждение, распрощаясь с ним, сея его щедрой рукой, он надеется взрастить известную потребность, а сильная потребность когда-нибудь породит мощное дело. И чтобы не было никаких сомнений, в чем я вижу эту нужду, эту потребность, это познание, о котором я говорил только что, – я удостоверяю здесь определенно, что то единство, к которому мы стремимся, и стремимся с большей страстностью, чем к политическому объе-

динению, есть немецкое единство, единство немецкого духа и жизни, основанное на устранении противоположности между формой и содержанием, внутренним миром и условностью.

5

В пяти отношениях представляется мне опасным и вредным для жизни перенасыщение той или иной эпохи историей: избытком истории порождается описанный выше контраст между внешним и внутренним и ослабляется тем самым личность; этот избыток создает для эпохи иллюзию, будто она в большей степени, чем всякая другая, обладает редчайшей из всех добродетелей – справедливостью: избытком этим нарушаются инстинкты народа, задерживается созревание как отдельных личностей, так и целого; на почве этого избытка вырастает вредная при всех условиях вера в старость человечества – вера в то, что наше поколение есть запоздалое поколение эпигонов; благодаря тому же избытку эпоха усваивает себе опасное настроение иронии к самой себе, которое в свою очередь влечет за собой еще более опасное настроение цинизма, а это последнее способствует все большему развитию расчетливой эгоистической практики, парализующей и в конце концов подрывающей жизненные силы.

А теперь возвратимся к нашему исходному утверждению: современный человек страдает ослаблением личности. Римлянин императорского периода, зная, что к услугам его целый мир, перестал быть римлянином и среди нахлынувшего на него потока чуждых ему элементов утратил способность быть самим собой и выродился под влиянием космополитического карнавала религий, нравов и искусств; эта же участь, очевидно, ждет и современного человека, который устраивает себе при помощи художников истории непрерывный праздник всемирной выставки; он превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве только на одно мгновение. Война еще не кончилась, а ее уже успели сто тысяч раз переработать в печатную бумагу, она уже предлагается как новейшее

средство для возбуждения испорченного аппетита тем, кто падок на историю. И кажется почти невозможным извлечь сильный и полный тон даже при помощи сильнейшего удара по струнам: он сейчас же слабеет и в следующее же мгновение звучит исторически-нежно и в бессилии замирает. Выражаясь на языке морали, вы не умеете удержаться на почве возвышенного, ваши деяния суть внезапные удары, а не раскаты грома. Даже если вам удастся совершить нечто грандиозное и удивительное – оно все же скучно и беззвучно нисходит в Оркус. Ибо искусство тотчас же обращается в бегство, как только вы приступаете к возведению исторического шатра над вашими подвигами. Тот, кто стремится мгновенно понять, рассчитать и постигнуть там, где он, глубоко потрясенный, должен был бы стараться удержать непостижимое, ибо оно возвышенно, может быть назван понятливым, но только в том смысле, в котором Шиллер говорит о разумении рассудительных; он не видит чего-то такого, что видно ребенку, не слышит чего-то такого, что слышно ребенку, и это что-то – как раз самое важное; а так как оно ему не понятно, то его понимание оказывается более ребячливым, чем дитя, и более наивным, чем сама наивность, – несмотря на все хитрые складки в пергаментных чертах его лица и виртуозное искусство, обнаруживаемое его пальцами в деле распутывания запутанного. Это значит: он уничтожил и утратил свой инстинкт, он не может по-прежнему, отпустив поводья, ввериться «божественному зверю» в тех случаях, когда разум ему изменяет, а путь идет через пустыни. От этого индивид делается робким, нерешительным и не смеет больше рассчитывать на самого себя. Он погружается в самого себя, в свой внутренний мир, то есть в беспорядочную грудку накопленного знания, которое не проявляет себя ничем вовне, и образования, которое не претворяется в жизнь. Если мы обратим внимание на внешнее, то мы заметим, что подавление инстинктов историей превратило людей почти в сплошные *abstractis* и тени: никто не осмеливается проявить свою личность, но каждый носит маску или образованного человека, или ученого, или поэта, или политика. Когда же кто-нибудь вздумает ухватиться за эти маски в полной уверенности, что это не шутовская комедия, а серьезное дело (ибо все они имеют самый

серьезный вид), то в руках у него остается только ветошь, да пестрые лоскутья. Поэтому не следует поддаваться обману, но нужно прикрикнуть: «Или снимите ваши маскарадные уборы, или будьте тем, чем вы кажетесь». Нельзя больше допускать, чтобы истинно серьезные люди обращались в Дон-Кихотов, ибо у них есть лучшее занятие, чем борьба с такими мнимыми реальностями. Во всяком случае, они должны зорко вглядываться в окружающее, видя замаскированных людей, они должны кричать: «Стой, кто тут?» – и срывать с них личины. Удивительное дело! История должна была бы прежде всего сообщать людям мужество быть *честными*, хотя бы даже честными глупцами; и таково было действительно всегда ее влияние, но только не теперь! Мы видим одновременное господство исторического образования и универсального буржуазного сюртука. Между тем как еще никогда не говорилось с таким пафосом о «свободной личности», мы не видим не только свободных, но даже просто личностей, а только боязливо закутанных универсальных людей. Индивид притаился в своем внутреннем мире: снаружи его совершенно незаметно, причем позволительно усомниться, могут ли вообще существовать причины без следствий. Или, может быть, необходимо поколение евнухов для охраны великого всемирно-исторического гарема? Им, конечно, чистая объективность очень к лицу. Дело похоже на то, что задача сводится к охране истории, с тем чтобы из нее получались лишь разные «истории», а не действительные события, и к предотвращению возможности для личности сделаться при посредстве истории «свободной», то есть правдивой в отношении себя самой, правдивой в отношении других, и притом не только на словах, но и на деле. Только благодаря такой правдивости обнаружатся убожество и внутренняя нищета современного человека, а на место тщательно прикрывающей всё условности и маскарада могут появиться в качестве истинных спасителей искусство и религия, чтобы общими силами создать такую культуру, которая отвечала бы истинным потребностям человека и которая не учила бы нас только, подобно современному общему образованию, обманывать самих себя относительно этих потребностей и превращаться таким образом в ходячую ложь.

В каких неестественных, искусственных и, во всяком случае, недостойных положениях приходится оказываться в эпоху, страдающую недугом общего образования, правдивейшей из всех наук – честной нагой богине философии! В этом мире вынужденного, внешнего однообразия она остается лишь ученым монологом одинокого скитальца, случайной добычей отдельного охотника, скрытой кабинетной тайной или безопасной болтовней между академическими старцами и детьми. Никто не осмеливается применить к самому себе закон философии, никто не решается жить как философ, обнаруживая ту простую верность мужа, которая заставляла античного мыслителя вести себя, как приличествовало стойку, где бы он ни находился и что бы ни делал, если только он однажды присягнул на верность стоической философии. Все же современное философствование носит политический и полицейский характер и обречено правилами, церковью, академиями, нравами и людской трусостью на роль только ученой внешности; оно ограничивается или вздохом: «о, если б когда-нибудь», или же сознанием: «так было когда-то». Философия оказывается бесправна внутри исторического образования, коль скоро она не хочет ограничиваться ролью ушедшего в себя пассивного знания без воздействия на жизнь: если бы современный человек вообще мог быть мужественным и решительным, если бы он не был даже в своих антипатиях существом исключительно внутренним, он отрекся бы от такой философии; теперь же он довольствуется тем, что стыдливо прикрывает ее наготу. Да, можно думать, писать, говорить, учить философски, – все это еще, пожалуй, разрешается; только в области действия, в так называемой жизни, дело обстоит иначе: тут позволено только что-нибудь одно, а все остальное просто невозможно; так угодно историческому образованию. Да и люди ли это действительно, спрашиваешь себя тогда, или, может быть, только думающие, пишущие и говорящие машины?

Гёте говорит где-то о Шекспире: «Никто не относился к материальному костюму с большим пренебрежением, чем он; но ему была отлично знакома внутренняя одежда человека, а перед нею все равны. Говорят, он превосходно изображал римлян, я этого не нахожу: все они чистокровные

англичане, но, конечно, они люди, люди до мозга костей, а таким под стать и римская тога». Теперь я спрашиваю, мыслимо ли изобразить наших теперешних литераторов, представителей народа, чиновников и политиков в виде римлян? Разумеется, из этого ничего не выйдет, ибо они не люди, а только ходячие компендиумы и, так сказать, конкретные абстракции. Если у них и есть характер и своеобразность, то запрятаны они настолько глубоко, что их невозможно извлечь на свет божий: если они и могут считаться людьми, то только для того, кто «гадает по внутренностям». Для всех прочих они – нечто иное: не люди, не боги, не животные, а продукты исторического образования, одно сплошное образование, образ, форма без сколько-нибудь заметного содержания, и, к сожалению, лишь плохая форма, к тому же еще и униформа. И в этом смысле должно быть понято и оценено мое положение: *историю могут вынести только сильные личности, слабых же она совершенно подавляет*. Причина в том, что история сбивает с толку наши чувства и ощущения в тех случаях, когда эти последние недостаточно мощны, чтобы помериться с прошлым. Тот, кто не осмеливается больше полагаться на самого себя, но невольно для определения своего чувства обращается к истории за советом: «как мне в этом случае ощущать?», тот из трусости постепенно превращается в актера и играет какую-нибудь роль, большей частью даже несколько ролей, и потому играет каждую из них так плохо и плоско. Постепенно исчезает всякое соответствие между человеком и областью его исторических изысканий; мы видим, что мелкие самоуверенные юнцы обращаются с римлянами запанибрата, они копаются, роются в останках греческих поэтов так, как будто и эти сохрога¹ сохранились только для их хирургических операций и были бы *vilia*², подобно их собственным литературным сохрога. Если, положим, кто-нибудь занимается изучением Демокрита, то мне всегда хочется спросить: почему именно Демокритом? почему не Гераклитом? или Филоном? или Бэконом? или Декартом? и так дальше по усмотрению. И далее: почему именно философом? почему не поэтом, не

1 тела (лат.).

2 ничтожны (лат.).

оратором? И почему вообще греком, почему не англичанином, турком? Разве прошлое не достаточно обширно, чтобы в нем не нашлось и для вас чего-нибудь, что не делало бы ваш выбор столь случайным и смешным? Но как уже сказано, это – поколение евнухов: ибо для евнухов все женщины одинаковы, для них женщина есть женщина вообще, женщина в себе, вечно недоступное – и потому совершенно безразлично, чем бы вы ни занимались, лишь бы только история могла сохранить свою прекрасную «объективность» благодаря усилиям как раз тех, кто никогда бы не мог сам делать историю. И так как вас никогда не будет притягивать к себе вечно-женственное, то вы его низводите до себя и, будучи сами среднего рода, трактуете историю как нечто среднего рода. Но чтобы кто-нибудь не подумал, что я всерьез сравниваю историю с вечно-женственным, считаю нужным подчеркнуть, что я рассматриваю историю скорее как нечто вечно-мужественное; для тех же, кто насквозь пропитан «историческим образованием», довольно безразлично, должна ли история рассматриваться как первое или второе; ведь они сами и не женщины, и не мужчины, и даже не *сompnia*, а всегда только средний род, или, выражаясь на разговорный манер, только вечно объективное.

А раз личности выветрились вышеописанным путем до полной бессубъектности, или, как говорят, объективности, то уже ничто больше не может на них подействовать; пусть совершается что-либо благое и полезное в области практики, поэзии или музыки, такой выхолощенный носитель образования сейчас же, не обращая внимания на самое дело, начинает интересоваться только историей автора. Если последний успел уже создать что-нибудь раньше, то критик стремится сейчас же уяснить себе как прежний, так и вероятный будущий ход его развития, сейчас же автор сопоставляется с другими авторами в целях сравнения, анализируется в отношении выбора материала и способа его трактовки, разрывается на части, которые потом вновь искусно соединяются в целое, и в целом наставляются на путь истинный. Какие бы поразительные вещи ни совершались, толпа исторически нейтральных уже на месте и готова издала обозреть автора. Тотчас же раздается эхо, но не иначе как в виде «критики», хотя еще за минуту до того критику

и не снилась даже самая возможность совершающегося. Нигде дело не доходит до воздействия, но всегда только лишь до «критики»; но и сама критика не приводит какого-нибудь воздействия, а порождает опять лишь критику. При этом вошло в обычай рассматривать обилие критики как успех, а незначительное число ее или отсутствие – как неуспех. В сущности же все остается по-старому даже при наличии такого «успеха»: поболтают, правда, некоторое время о чем-то новом, а затем опять о другом новом, но продолжают делать тем временем то же, что всегда делали и раньше. Историческое образование наших критиков более совершенно не допускает, чтобы дело доходило до какого-нибудь воздействия в собственном значении этого слова, то есть до воздействия на жизнь и деятельность людей: на самый четкий шрифт они тотчас накладывают свою промокательную бумагу, самый изящный рисунок они пачкают жирными штрихами своей кисти, которые выдают за поправки, – и дело сделано. Но их критическое перо никогда не прекращает своей работы, ибо они утратили власть над ним: скорее оно владеет ими, чем они им. Как раз в этой безудержности их критических излияний, в отсутствии способности владеть собой, в том, что римляне называли *impotentia*, и сказывается слабость современной личности.

6

Но оставим эту слабость. Обратимся лучше к одной из прославленных способностей современного человека с вопросом, правда, несколько щекотливым: дает ли ему его знаменитая историческая «объективность» право называться сильным, точнее, справедливым, и справедливым в большей степени, чем люди других эпох? Верно ли, что эта объективность имеет своим источником повышенную потребность в справедливости и стремление к ней? Или же она, будучи действием совсем других причин, только внешне производит такое впечатление, как будто справедливость служит истинной причиной этого действия? Не создает ли она, быть может, вредный предрассудок о превосходстве современного человека – вредный в силу того, что он яв-

ляется слишком для него лестным? Сократ считал болезнью, близкой к помешательству, уверенность человека в обладании такой добродетелью, которой у него в действительности нет; и на самом деле такая иллюзия опаснее, чем противоположное заблуждение, заключающееся в приписывании себе мнимых недостатков или пороков. Ибо при последнем заблуждении человек еще не лишен возможности сделаться лучше: упомянутая же выше иллюзия делает человека или известную эпоху с каждым днем все хуже и хуже, то есть, в данном случае, несправедливее.

Поистине, никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки. Рука справедливого, правомочного творить суд, уже не дрожит больше, когда ей приходится держать весы правосудия; неумолимый к самому себе, кладет он гирию за гирей, взор его не омрачается, когда чаша весов поднимается и опускается, а голос его не звучит ни излишней суровостью, ни излишней мягкостью, когда он оглашает приговор. Будь он просто холодным демоном познания, он распространял бы вокруг себя ледяную атмосферу сверхчеловечески ужасного величия, которой мы должны были бы страшиться, а не почитать ее; но что он, оставаясь человеком, пытается от поверхностного сомнения подняться к строгой достоверности, от мягкой терпимости к императиву «ты должен», от редкой добродетели великодушия к редчайшей добродетели справедливости, – что он теперь имеет сходство с тем демоном, будучи, однако, с самого начала не чем иным, как слабым человеком, – и прежде всего, что он в каждый отдельный момент должен искупать в самом себе свою человечность и трагически изнемогать в стремлении к невозможной добродетели – все это возносит его на одинокую высоту как *достойнейший* экземпляр человеческой породы: ибо истины желает он, но не как холодного, самодовлеющего познания, а как упорядочивающего и карающего судьи; он стремится к истине не как к эгоистическому предмету обладания для отдельного лица, но как к священному праву передвигать все грани

эгоистических владений, – словом, к истине как к вселенскому суду, а отнюдь не как к пойманной добыче и радости одинокого охотника. Лишь поскольку правдивый человек обладает безусловной решимостью быть справедливым, постольку можно видеть нечто великое в столь бессмысленно восхваляемом всегда стремлении к истине; тогда как для более тупого взора с этим стремлением к истине, имеющим свои корни в справедливости, сливается обыкновенно целый ряд самых разнообразных инстинктов, как-то: любопытство, бегство от скуки, зависть, тщеславие, страсть к игре – инстинкты, которые не имеют ничего общего с истиной. Поэтому, хотя мир кажется переполненным людьми, которые «служат истине», тем не менее добродетель справедливости встречается очень редко, еще реже признается и почти всегда возбуждает смертельную ненависть к себе, между тем как толпа мнимых добродетелей всегда совершала свое шествие, окруженная почтением и блеском. Мало кто воистину служит истине, ибо лишь немногие обладают чистою волей быть справедливыми, и из числа последних лишь совсем немногие достаточно сильны, чтобы на деле быть справедливыми. Совершенно недостаточно обладать только волей к истине; и наиболее ужасные страдания выпадают на долю людей, обладающих стремлением к справедливости, но без достаточной силы суждения; поэтому интересы общего благосостояния не требуют ничего *иного*, как самого широкого посева способности суждения, которая позволила бы нам отличить фанатика от судьи и слепую страсть творить суд от сознательной уверенности в праве судить. Но где найти средство для культивации такой способности суждения! Поэтому люди, когда им говорят об истине и справедливости, обречены испытывать вечно боязливую неуверенность в том, говорит ли с ними фанатик или судья. Ввиду этого им следует простить, если они всегда с особой благосклонностью приветствовали тех «служителей истины», которые не обладают ни волей, ни способностью судить и ограничиваются задачей найти «чистое, самодовлеющее» познание или, точнее, истину, ни к чему не приводящую. Существует масса безразличных истин; существуют проблемы, для правильного решения которых не нужно никакого усилия над собой, не говоря уже о самопожертвовании.

В этой безвредной области безразличия человеку, пожалуй, и удастся иногда делаться холодным демоном познания; и все-таки, даже когда, в особенностях в самые счастливые эпохи, целые когорты ученых и исследователей превращаются в таких демонов, не исключена, к сожалению, возможность, что эта эпоха будет страдать недостатком строгой и возвышенной справедливости, короче – отсутствием благороднейшего зерна так называемого инстинкта истины.

Допустим теперь, что мы имеем перед собой исторического виртуоза современности; может ли он считаться справедливейшим человеком своего времени? Совершенно верно, что он выработал в себе такую тонкость и возбудимость ощущения, что ничто человеческое не остается ему чуждо; самые разнообразные эпохи и личности находят себе немедленно отголосок в родственных звуках его лиры: он сделался пассивным эхом, которое своими отзвуками в свою очередь действует на другие подобные пассивные отголоски, пока наконец вся атмосфера данной эпохи не переполнится такими переплетающимися нежными и родственными отзвуками. Но мне кажется, что при этом мы слышим только как бы обертоны каждого оригинального исторического основного тона: крепость и мощь оригинала не находят себе выражения в этом небесно-призрачном и остром звоне струн. Если основной тон вызывал в нас большей частью мысль о делах, нуждах, ужасах, то это эхо убаюкивает нас и превращает в изнеженных сибаритов; словно кто-то переложил героическую симфонию для двух флейт и приспособил ее к вкусам погруженных в свои грезы курильщиков опиума. Уже отсюда можно видеть, насколько эти виртуозы способны осуществить верховные притязания современного человека, именно притязания на более возвышенную и чистую справедливость, ибо эта последняя добродетель не знает мягких приемов и ей чужды нежные волнения; она сурова и ужасна. Как низко в сравнении с ней стоит на лестнице добродетели великодушные, – великодушные, которое может считаться преимуществом лишь некоторых, и притом весьма редких, историков! Но большинству удастся подняться лишь до терпимости, до признания того, что не может быть оспорено, до приспособления и умеренно-благоклонного приукрашивания; они исходят при этом из вполне осно-

вательного предположения, что когда прошлое излагается без суровых нот в голосе и без выражения ненависти, то для неопытного читателя это может сойти за добродетель справедливости. Но творить суд может только превосходящая сила, слабость должна быть терпимой, если она не хочет симулировать силу и превращать в комедию суд, творимый справедливостью. И вот же, остается еще одна ужасная разновидность историков; это – дельные, суровые и честные характеры, но – тупоголовые; здесь имеются налицо как твердая решимость быть справедливым, так и пафос творящего суд; но все приговоры неправильны по той же приблизительно причине, по которой неправильны приговоры обыкновенных коллегий присяжных. Таким образом, мы видим, как маловероятно частое появление исторических талантов. Мы не станем уже говорить здесь о замаскированных эгоистах и лицах, преследующих партийные интересы, которые стараются объективной миной прикрыть свою злую игру. Точно так же обойдем молчанием тех легкомысленных людей, которые пишут историю в наивной уверенности, что все общепринятые взгляды их эпохи правильны и что описывать события с точки зрения данной эпохи – значит вообще быть справедливым; это – та вера, в которой живет каждая религия и по поводу которой, поскольку речь идет о религиях, не стоит тратить много слов. Эти наивные историки понимают под «объективностью» оценку мнений и подвигов прошлого на основании ходячих суждений минуты: в них видят они канон всех истин; их труд есть приспособление прошлого к современной тривиальности. Наоборот, они называют «субъективным» всякое историческое описание, которое не считает эти ходячие мнения незыблемыми.

И разве не примешивается некоторая доля иллюзии даже к самому возвышенному пониманию слова «объективность»? Ведь под этим словом понимают такое душевное состояние историка, при котором он созерцает известное событие со всеми его мотивами и следствиями в такой чистоте, что оно не оказывает никакого влияния на его личность; при этом имеют в виду тот эстетический феномен, ту свободу от личного интереса, которую обнаруживает художник, созерцающий среди бурного ландшафта, под гром и молнию, или на море во время шторма свои внутренние

образы и забывающий при этом о своей личности. На этом же основании к историку предъявляются требования художественной созерцательности и полнейшего погружения в событие; тем не менее, было бы предрассудком полагать, что образ, который принимают вещи в душе настроенного таким образом человека, воспроизводит эмпирическую сущность вещей. Ведь не можем же мы думать, что в такие моменты вещи как бы самопроизвольно запечатлеваются, копируются, фотографируются душой в чисто пассивном состоянии.

Это, конечно, было бы мифологией, и притом весьма неудачной; кроме того, здесь упускалось бы из виду, что именно этот момент и есть момент наиболее энергичной и наиболее самостоятельной созидательной работы в душе художника, – момент наивысшего напряжения его творческой способности, результатом которого может быть только художественно правдивое, а не исторически верное изображение. Объективно мыслить историю – значит, с этой точки зрения, проделывать сосредоточенную работу драматурга, именно, мыслить все в известной связи, разрозненное сплести в целое, исходя всегда из предположения, что в вещи следует вложить некое единство плана, если его даже раньше в них не было. Таким образом человек оплетает и окутывает прошлое, так выражается его художественный инстинкт, но не его инстинкт правды и справедливости. Объективность и справедливость не имеют ничего общего между собой. Вполне мыслимо такое историческое описание, которое не заключало бы в себе ни единой йоты обыкновенной эмпирической истины и которое в то же время могло бы с полным основанием претендовать на эпитет объективного. А Грильпарцер имеет мужество даже заявить следующее: «Что такое история, как не способ, которым человеческий дух овладевает *непроходимыми для него событиями*, связывает то, что Бог весть соединимо ли, заменяет непонятное чем-либо понятным, приписывает свои понятия о внешней целесообразности некоторому целому, которому известна только внутренняя целесообразность, и предполагает случайность там, где действуют тысячи мелких причин? Каждый человек подчинен в то же время и своей индивидуальной необходимости, так что миллионы направлений идут параллельно друг другу в форме прямых или

кривых линий, взаимно перекрещиваются, ускоряют или задерживают друг друга, стремятся вперед или назад и получают благодаря этому друг для друга значение случая, делая таким образом невозможным доказательство всепроникающей, всеохватывающей необходимости событий, если даже и не считается при этом с влиянием явлений природы». А между тем именно такая необходимость должна выясниться в конечном результате упомянутого «объективного» рассмотрения вещей! Эта предпосылка, будучи выставлена историком в качестве догмата, может принять только самую курьезную форму; Шиллер, правда, ничуть не заблуждался относительно настоящего, чисто субъективного характера этой предпосылки, когда говорил об историке: «Одно явление за другим начинает ускользать из-под власти слепой случайности и беспорядочной свободы и включаться как соответствующее звено в известное гармоническое целое – *которое, правда, существует только в его воображении*». Но что сказать о следующем утверждении одного знаменитого виртуоза истории, высказанном с такой убежденностью, а на деле искусно балансирующем на грани тавтологии и бессмыслицы: «Не подлежит никакому сомнению, что вся человеческая деятельность подчинена незаметному и часто ускользающему от наблюдения, но могучему и неудержимому ходу вещей». В такого рода утверждении чувствуется не столько загадочная истина, сколько ничуть не загадочная неправда, как в изречении гётевского придворного садовника «природу можно форсировать, но нельзя принудить» или в вывеске одной ярмарочной лавки, о которой рассказывает Свифт: «Здесь показывают величайшего в мире слона, за исключением его самого». Ибо какая, на самом деле, может быть противоположность между деятельностью людей и ходом вещей? И вообще, не странно ли, что историки, подобные тому, чье изречение мы цитировали выше, не могут быть поучительными, как скоро они переходят на общие темы и пытаются замаскировать сознание своей слабости разными неясностями. В других науках общие положения суть самое главное, поскольку они содержат в себе законы; если же такого рода положения, как вышеприведенное, должны считаться законами, то на это можно возразить, что тогда работа исторического исследователя по-

трачена даром, ибо то, что вообще в таких положениях, за вычетом темного, неразложимого остатка, о котором мы говорили, остается истинного, – должно считаться известным и даже тривиальным; это бросается в глаза каждому, как бы ни была мала сфера его опыта. Но беспокоить по данному поводу целые народы и затрачивать на это годы тяжелого труда – не равносильно ли это нагромождению в естественных науках опытов, несмотря на то что искомый закон мог бы быть выведен на основании уже имеющегося запаса опытов; это бессмысленное излишество в экспериментировании и составляет, впрочем, согласно Цельнеру, слабую сторону современного естествознания. Если бы ценность драмы заключалась только в главной идее, выясняющейся к концу ее, то драма сама представлялась бы самым длинным, окольным и тяжелым путем к цели; поэтому я надеюсь, что история вправе усматривать свое значение не в общих идеях, выдаваемых за некоего рода цвет и плод, но что ценность ее в том и заключается, чтобы, взяв знакомую, может быть, обыкновенную тему, будничную мелодию, придать ей остроумную форму, поднять ее, повысить на степень всеохватывающего символа и таким способом дать почувствовать присутствие в первоначальной теме целого мира глубины, мощи и красоты.

Но для этого необходимы, прежде всего, большие художественные способности, творческое парение мысли, любовное погружение в эмпирические данные, поэтическая переработка типов – для этого нужна и объективность, но как положительное свойство. Как часто, однако, объективность бывает всего лишь фразой! На место сверкающего в глубине, но неподвижного и непроницаемого на поверхности спокойствия художественного взора заступает аффектация покоя, так же, как недостаток пафоса и нравственной силы выдает себя за беспощадный холод анализа. В иных случаях банальность мысли и ходячая мудрость, которые лишь благодаря их скучности производят впечатление чего-то спокойного и невозмутимого, отваживаются даже выдавать себя за то состояние художественного творчества, во время которого смолкает и делается совершенно незаметным субъект. Тут пускают в ход все, что никоим образом не способно взволновать читателя, и самые сухие выраже-

ния полагают самыми уместными. В конце концов доходят до утверждения, что именно тот, кому *нет никакого дела* до известного момента прошлого, и призван его изобразить. Таково зачастую взаимное отношение филологов и древних греков: они ведь совершенно равнодушны друг к другу, и это называется тогда «объективностью»! Но в особенности возмутительно умышленное и торжественно выставляемое на вид беспристрастие и изысканные трезвенно-плоские приемы объяснения именно там, где дело идет об изображении наиболее возвышенных и редких моментов истории; это происходит обыкновенно в тех случаях, когда равнодушные историка, старающиеся казаться объективным, обусловливается его *тщеславием*. Вообще при оценке таких авторов следует исходить из принципа, что каждый человек именно настолько тщеславен, насколько ему не хватает ума. Нет, будьте по крайней мере честны! Не старайтесь придать себе вид художественной силы, которая действительно может быть названа объективностью, не старайтесь казаться справедливыми, если вы не рождены для ответственного призвания справедливых. Как будто задача каждой эпохи заключается в том, чтобы быть справедливой по отношению ко всему, что когда-нибудь имело место! В сущности, ни одна эпоха и ни одно поколение не имеют права считать себя судьями всех прежних эпох и поколений; эта столь тяжкая миссия выпадает всегда лишь на долю отдельных личностей, и притом крайне редких. Кто вас принуждает быть судьями? И далее, испытайте себя хорошенько, можете ли вы быть справедливыми, если бы вы этого и захотели! В качестве судей вы должны стоять выше того, кого вы судите, тогда как, в сущности, вы лишь позже вышли на историческую арену. Гости, которые приходят последними на званый обед, должны, по справедливости, получить последние места; а вы хотите получить первые! Ну, тогда, по крайней мере, стремитесь совершить нечто великое и возвышенное, и, может быть, вам тогда действительно уступят место, хотя бы вы и пришли последними.

Только исходя из того, что составляет высшую силу современности, вправе вы толковать прошлое. Только путем наивысшего напряжения ваших благороднейших свойств вы сумеете угадать в прошлом то, что в нем представляется стоящим

познания и сохранения и что есть в нем великого. Равное познается только равным, иначе вы всегда будете принимать прошлое до себя. Не верьте историческому труду, если он не является продуктом редчайших умов; а вы всегда сумеете заметить, какого качества ум историка, по тем случаям, когда ему приходится высказать какое-нибудь общее положение или повторять еще раз хорошо известные вещи: истинный историк должен обладать способностью перечеканивать общеизвестное в нечто неслышанное и провозглашать общее положение в такой простой и глубокой форме, что при этом простота не замечается из-за глубины и глубина из-за простоты. Никто не может быть одновременно великим историком, художественной натурой и плоским умом, но отсюда не следует, что можно относиться с пренебрежением к тем работникам, которые подвозят материал, складывают его в кучи и сортируют его, только потому, что они ни в каком случае не могут сделаться великими историками; их, разумеется, не следует смешивать с последними, но рассматривать как необходимых сотрудников и помощников на службе их хозяина-мастера: в таком же примерно смысле, в каком французы – с большей наивностью, чем это возможно у немцев, – обыкновенно говорят об *historiens de M. Thiers*¹. Эти работники, возможно, станут постепенно большими учеными, но все же никогда не смогут стать мастерами. Большой ученый и большая тупица – это еще как-то уживается в одной голове.

Итак, история пишется только испытанными и выдающимися умами. Кто не пережил некоторых вещей шире и глубже всех, тот не сумеет растолковать ничего великого и возвышенного в прошлом. Заветы прошлого суть всегда изречения оракула: только в качестве строителей будущего и знатоков настоящего вы поймете их. Теперь принято объяснять необыкновенно глубокое и широкое влияние Дельфов главным образом тем, что дельфийские жрецы были удивительными знатоками прошлого; но пора уже понять, что только тот, кто строит будущее, имеет право быть судьей прошлого. Тем, что вы смотрите вперед, ставите себе великую цель, вы обуздываете в то же время ту страсть к анали-

¹ историках г-на Тьера (*фр.*). См. прим.

зу, которая своим пышным развитием теперь опустошает современность и делает почти невозможным всякое спокойствие, всякий мирный рост и созревание. Окружите себя оградой великой всеохватной надежды и полного упований стремления. Творите в себе идеал, которому должно отвечать будущее, и отбросьте предрассудок, что вы эпигоны. Поставив себе целью эту грядущую жизнь, вы найдете, что создать, что изобрести; но не требуйте от истории, чтобы она ответила вам на вопросы: как и посредством чего? Если же вы, напротив, вживетесь в историю великих людей, то вам удастся извлечь оттуда верховную заповедь стремления к зрелости и освобождения себя от парализующего воспитательного гнета эпохи, которая видит свою выгоду в том, чтобы не позволить вам сделаться зрелыми, дабы властвовать над вашей незрелостью и эксплуатировать вас. И если вы интересуетесь биографиями, выбирайте не те, в которых повторяется припев «имярек и его эпоха», но только такие, на титульном листе которых значится: «борец против своего времени». Старайтесь насытить ваши души Плутархом и имейте мужество верить в самих себя, веря в его героев. Сотня таких воспитанных не в духе времени, то есть достигших зрелости и привычных к героическому, людей может заставить замолчать навеки все крикливое лжеобразование нашей эпохи.

7

Историческое чувство, когда оно властвует *безудержно* и доходит до своих крайних выводов, подрывает будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей их атмосферу, в которой они только и могут жить. Историческая справедливость даже тогда, когда она неподдельна и проистекает из чистого сердца, есть ужасная добродетель, потому что она постоянно подкапывается под живое и приводит его к гибели: суд ее всегда разрушителен. Когда исторический инстинкт не соединяется с инстинктом созидания, когда разрушают и расчищают место не для того, чтобы будущее, уже живущее в надежде, имело возможность возвести свое здание на освободившейся почве, когда властвует

одна справедливость, тогда творческий инстинкт утрачивает свою мощь и мужество. Так, например, религия, которая под воздействием чистой справедливости способна претвориться в историческое знание, – религия, которая подлежит строго научному изучению, – осуждена в то же время на полное уничтожение в конце этого пути. Причина заключается в том, что при исторической проверке обнаруживается каждый раз такая масса фальшивого, грубого, бесчеловечного, нелепого, насильственного, что та благоговейная атмосфера иллюзии, в которой только и может жить все, что хочет жить, необходимо должна рассеяться: только в любви, только осененный иллюзией любви может творить человек, то есть только в безусловной вере в совершенство и правду. У всякого, кого лишают возможности любить безусловно, тем самым подрезают его живые корни: он должен увянуть, а именно – сделаться нечестным. В этом отношении влиянию истории противоположно влияние искусства; и только в том случае, если бы история могла быть претворена в художественное произведение, то есть сделаться чистым созданием искусства, ей удалось бы, быть может, поддерживать или даже пробуждать инстинкты. Но такого рода понимание истории стало бы в полное противоречие с аналитическим и антихудожественным направлением нашего времени и даже ощущалось бы последним как подделка. История же, которая только разрушает, не руководясь при этом внутренним стремлением к созиданию, делает в конце концов своих работников пресыщенными и неестественными, ибо такие люди разрушают иллюзии, а «того, кто разрушает иллюзию в себе или других, природа наказывает, как самый жестокий тиран». Некоторое время, правда, можно заниматься историей в полной беспечности и беззаботности, без оглядки, как будто это такое же занятие, как всякое другое; в особенности это относится к новейшему богословию, которое, по-видимому, только благодаря своей полнейшей беспечности завязало сношения с историей и даже теперь не успело заметить, что оно тем самым, вероятно против своей воли, служит делу вольтеровского *escravez*¹. Пусть никто не ищет за этим

¹ раздавите (*фр.*, имеется в виду вольтеровское «раздавите гадину»).

каких-нибудь новых и сильных созидательных инстинктов, разве только если рассматривать так называемый союз протестантов как зародыш новой религии, а юриста Гольцендорфа (издателя и провозвестника так называемой библии протестантов) – как Иоанна Крестителя на берегах Иордана. Некоторое время укреплению такой беззаботности может способствовать еще продолжающая бродить в головах старшего поколения гегелевская философия, хотя бы в той форме, когда различают между «идеей христианства» и разными несовершенными «формами проявления» ее и внушают себе мысль, что мы имеем здесь дело «с особой склонностью идеи» воплощаться все в более чистых формах и, в последней инстанции, в самую чистую, конечно, самую прозрачную и даже едва доступную наблюдению форму, которую она принимает в мозгу теперешнего *theologus liberalis vulgaris*¹. Если прислушаться к тому, как эти наиболее очищенные формы христианства оценивают предшествующие нечистые его формы, то на беспристрастного слушателя это зачастую производит впечатление, словно речь идет не о христианстве, а о... право, не знаю, о чем может идти речь, когда мы слышим, что «величайший богослов столетия» определяет христианство как религию, которая позволяет «ощутить сущность всех существующих и еще некоторых других, пока только возможных, религий», и когда «истинной церковью» должна считаться та, которая «превращается в текущую массу, где не заметно никаких твердых очертаний и каждая часть находится то там, то здесь и все мирно смешивается друг с другом». – Еще раз, о чем может идти в данном случае речь?

На примере христианства мы видим, как оно под воздействием историзирующей обработки становилось надутым и неестественным, пока, наконец, полностью историческая, то есть справедливая интерпретация не превратит его в чистое знание о христианстве и тем погубит его окончательно. То же наблюдается и во всем живущем: оно перестает жить, если его разрезали на части, и влачит болезненное и мучительное существование, когда над ним начинают продельвать опыты исторического анатомирования. Есть лю-

1 теолог либеральный обыкновенный (лат.).

ди, которые верят в преодолевающее и реформирующее целительное влияние немецкой музыки на немцев. Они смотрят с негодованием, как на величайшую несправедливость, допускаемую по отношению к самым живым элементам нашей культуры, на то, что такие люди, как Моцарт и Бетховен, уже теперь оказываются почти засыпаны всем ученым хламом биографических работ и что в застенках исторической критики у них выпытывают ответы на тысячи назойливых вопросов. Разве живые, не исчерпанные еще в своих последствиях силы не гибнут преждевременно от любопытства людей, проникающих со своими бесчисленными микроскопическими изысканиями в жизнь и творчество великих людей и ищущих познавательные проблемы там, где следовало бы просто учиться жизни и забывать все проблемы? Представьте себе, что несколько таких современных биографов перенесено на родину христианства или лютеровской Реформации; их трезвой, прагматизирующей любознательности оказалась бы как раз достаточно, чтобы сделать невозможной всякую чудесную духовную *actio in distans*¹ совершенно так же, как самое презренное животное путем поглощения желудей может помешать зарождению могучего дуба. Всему живому нужна окружающая его атмосфера, таинственная пелена. Если мы отнимем у него эту оболочку, если мы заставим религию, искусство, гения кружить в пространстве, подобно созвездию без атмосферы, то нам не следует удивляться их быстрому увяданию, засыханию и бесплодию. Так обстоит со всеми великими вещами,

«которые никогда не удаются без некоторого морока», как говорит Ганс Сакс в «Мейстерзингерах».

Но каждый народ, даже каждый человек, который стремится сделаться *зрелым*, нуждается в таком обволакивающем его мороке, в таком предохранительном и укутывающем облаке; теперь же вообще ненавидят созерцание, так как историю чтут больше жизни. Теперь даже ликуют по поводу того, что «наука начинает господствовать над жизнью»: нет ничего невозможного в том, что этого удастся достигнуть, но не подлежит сомнению, что такая покоренная жизнь не имеет большой ценности, потому что она в значительно

¹ действие на расстоянии (*лат.*).

меньшей мере является *жизнью* и в значительно меньшей степени обеспечивает жизнь в будущем, чем прежняя, управляемая не знанием, но инстинктами и могучими иллюзиями. Но наше время, скажут нам, и не стремится стать веком достигших законченности и зрелости, гармонически развитых личностей, а только веком общего и наиболее производительного труда. Последнее значило бы лишь: в соответствии с задачами эпохи люди должны быть выдрессированы так, чтобы как можно скорее принять участие в общей работе; они должны работать на фабрике общепользовательных вещей, прежде чем они созреют или, вернее, для того, чтобы они не могли созреть, ибо это было бы роскошью, которая отняла бы массу сил у «рынка труда». Некоторых птиц ослепляют, чтобы они лучше пели; я не верю, чтобы современные люди пели лучше, чем их предки, но знаю, что их заблаговременно ослепляют. Средством же, проклятым средством, к которому прибегают для того, чтобы их ослепить, служит *слишком яркий, слишком внезапный, слишком быстро меняющийся свет*. Молодежь как бы прогоняется сквозь строй столетий: юноша, который не имеет никакого представления о войне, о дипломатических действиях, о торговой политике, признается тем не менее достойным введения в область политической истории. Совершенно так же, как юноша бегло знакомится с историей, так же мы, современные, на бегу осматриваем хранилища искусств и так же слушаем мы концерты. Мы чувствуем, конечно, что одно звучит так, другое иначе, что одно действует так, а другое иначе; но утрачивать все более и более это чувство различия и новизны, ничему более чрезмерно не удивляться и, наконец, примиряться со всем – вот что называют теперь историческим чувством, историческим образованием. Говоря без прикрас, масса притекающего так велика, чуждое, варварское и насильственное, «свернувшись в отвратительный клубок», громоздится такой чудовищной массой, так тяжело давит юношескую душу, что она может спасти себя только в преднамеренном оупении. Там же, где в основе лежит более утонченное и более здоровое сознание, на сцену является также и другое ощущение – отвлечение. Юноша чувствует себя безродным и начинает сомневаться во всех нравственных устоях и понятиях. Те-

перь он твердо знает: в различные времена все было иначе, и потому совершенно не важно, каков ты сам. В меланхолическом равнодушии он перебирает мнение за мнением и научается понимать слова и настроение Гёльдерлина при чтении сочинения Диогена Лаэртца о жизни и учении греческих философов: «Я снова испытал то, что уже раньше было знакомо мне, а именно что изменчивость и преходящее человеческих идей и систем действует на меня, пожалуй, более трагически, чем судьбы, которые обыкновенно считают единственно реальными». Нет, такое все затопяющее, оглушающее и насильственное историзирование, без сомнения, не нужно для юношества, как показывает пример древних, и даже в высшей степени опасно, как об этом свидетельствует новейшая история. Взгляните на студента, изучающего историю, этого наследника скороспелой, появляющейся чуть ли не в детские годы пресыщенности и разочарования. Теперь «метод» заменяет ему действительную работу, он усваивает себе сноровку и важный тон, манеру своего учителя; совершенно изолированный отрывок прошлого отдан на жертву его остроумию и усвоенному им методу; он уже успел нечто произвести на свет, или, употребляя более важный стиль, он нечто «создал», теперь он стал служителем истины на деле и является хозяином во всемирном царстве истории. Если он «созрел» уже мальчиком, то теперь он перезрел: стоит только его хорошенько потрясти, и на вас с треском посыплется его мудрость; но мудрость эта подгнила, и в каждом яблоке есть червоточина. Верьте мне, если люди принуждены работать на научной фабрике и приносить свою долю пользы прежде, чем они дозреют, то вскоре погибнет сама наука, как гибнут до срока отданные ей во власть рабы. Я сожалею, что принужден прибегать к жаргону рабовладельцев и работодателей для описания таких отношений, которые, собственно, должны мыслиться свободными от всяких утилитарных соображений и жизненной нужды, но слова «фабрика», «рабочий рынок», «спрос», «утилизация» и тому подобные вспомогательные термины эгоизма невольно просятся на язык, когда приходится описывать молодое поколение ученых. Добросовестная посредственность становится все посредственнее, а наука в смысле экономическом все полезнее.

Собственно говоря, новейшее поколение ученых мудро только в одном отношении, и в этом отношении, пожалуй, мудрее, чем все люди прошлого, во всех же остальных отношениях оно только, мягко выражаясь, бесконечно отличается от ученых прежнего склада. Несмотря на это, они требуют себе почестей и выгод, как будто государство и общественное мнение были бы обязаны считать новые монеты столь же полновесными, как и старые. Ломовые извозчики заключили между собой рабочий договор и объявили гения излишним, признав печать его на себе самих, но позднейшее поколение, вероятно, сейчас же заметит, что их здание представляет собой груды свезенного в кучу материала, а не правильную постройку. Тем, кто без усталости повторяет современный боевой и жертвенный клич: «разделение труда! плечом к плечу!», нужно раз и навсегда коротко и ясно сказать: если вы хотите двинуть науку как можно быстрее вперед, то вы рискуете ее очень быстро погубить, подобно тому, как у вас погибнет наседка, если вы вздумаете принуждать ее искусственными мерами как можно быстрее нести яйца. О, конечно, наука в последнее десятилетие изумительно быстро шагнула вперед, но взгляните на ваших ученых, этих истощенных наседок. Поистине, они не похожи на «гармоничные» натуры; только кудахтать они умеют больше, чем когда-либо, так как они чаще несут яйца; правда, зато яйца делаются все меньше (хотя книги все толще). Последним и естественным результатом такого положения вещей является пользующаяся всеобщими симпатиями «популяризация науки» (наряду с ее «феминизацией» и «инфантилизацией»), то есть пресловутая кройка научного платья по фигуре «смешанной публики», если выразиться по поводу портновской деятельности портновским же языком. Гёте видел в этом злоупотребление и требовал, чтобы науки влияли на внешний мир только *повышенной действительностью*. Ученым старших поколений такое злоупотребление наукой представлялось, кроме того, по весьма веским причинам делом тяжелым и обременительным, и точно так же в силу весьма веских причин ученые младшего поколения относятся к этому вопросу весьма легко, ибо они сами, за исключением маленького уголка их знаний, представляют собой весьма смешанную публику, разделя-

ющую также и потребности последней. Им стоит только удобно усесться, чтобы открыть этой популярной смеси потребности и любопытства доступ в скромную область их изысканий. И этот-то простой акт удобства они претенциозно характеризуют словами: «ученый скромно снисходит к своему народу», в то время как в сущности ученый лишь снизошел к самому себе, поскольку он сам является не ученым, а чернью. Создайте себе истинную идею «народа»: она никогда не может быть слишком благородной и возвышенной. Если бы вы в самом деле были высокого мнения о народе, то вы были бы милосердны к нему и поостереглись бы, конечно, предлагать ему вашу историческую «царскую водку» в качестве «живой воды». Но вы в глубине души весьма невысокого мнения о нем, ибо не можете иметь истинного и прочно обоснованного уважения к его будущему; вы действуете как практические пессимисты, я хочу сказать, как люди, которыми руководит предчувствие гибели и которые вследствие этого сделались апатично-равнодушными к чужому благу и даже к своему собственному. Лишь бы на *наш* век хватило! А если и на наш век не хватит, то и это будет справедливо, – так чувствуют они, ведя свое *ироническое* существование.

8

Может показаться странным, но отнюдь не противоречивым, если я, тем не менее, приписываю той самой эпохе, которая имеет обыкновение в такой громкой и назойливой форме предаваться беззаботнейшему ликованию по поводу своего исторического образования, род *иронического самосознания*, некоторое носящееся в воздухе предчувствие того, что здесь нет места ликованию, и страх, что, может быть, близок конец всем наслаждениям исторического познания. Такого же рода загадку, но только относительно отдельных личностей, поставил нам Гёте в своей замечательной характеристике Ньютона: он находит в глубине (или, правильнее, на вершинах) существа Ньютона «смутное предчувствие его неправоты», как некоторое, заметное только в определенные моменты, проявление высшего контроли-

рующего сознания, достигшего известного иронического обозрения необходимо присущей ему природы. Точно так же в более широко и высоко развитых исторических людях мы встречаем часто пониженное до уровня тотального скепсиса сознание всей нелепости предрассудка, внушающего, что воспитание народа должно носить исторический по преимуществу характер, как это имеет место сейчас; ведь именно наиболее сильные народы, и притом сильные своими делами и подвигами, жили иначе, иначе воспитывали юношество. Но именно нам эта нелепость, этот предрассудок и приличествует, обыкновенно возражают скептики: нам, поздним пришельцам, нам, последним отцветшим отпрыскам могучих и жизнерадостных поколений, нам, к которым следует отнести пророчество Гесиода, что люди некогда будут рождаться с седыми волосами и что Зевс истребит поколение, на котором сбудется это пророчество. Историческое образование должно действительно считаться родом прирожденного седовласия, и те, кто с детства носят на себе его печать, вынуждены в конце концов прийти к инстинктивной вере в *старость человечества*; а старости и приличествует теперь стариковское занятие – заглядывание в прошлое, проверка счетов, подведение итогов, поиски утешения в прошлом в форме воспоминаний, короче – историческое образование. Но человеческий род крепок и устойчив и не желает, чтобы его рассматривали в его развитии вперед или назад по тысячелетиям или даже сотням тысяч лет; другими словами, он *вовсе не* желает, как целое, подвергаться рассмотрению со стороны бесконечно малого атома, точки – отдельного человека. Ибо что значит каких-нибудь несколько тысячелетий (или, выражаясь иначе, промежуток времени в 34 следующие друг за другом человеческие жизни, считая по 60 лет в каждой) и можно ли говорить в начале такого периода о «юности», а в конце его уже о «старости человечества»? Не скрывается ли скорее за этой парализующей верой в уже начавшееся увядание человечества некоторое недоразумение, выросшее на почве унаследованного от средних веков христианско-богословского представления или мысли о близком конце мира и о страшном суде? Не приняло ли это представление лишь новую форму под влиянием повышенной исторической потреб-

ности в суде, словно наша эпоха последняя из возможных и сама призвана организовать тот мировой суд над всем прошлым, который христианская догма ожидала отнюдь не от людей, а от «Сына Человеческого»? Раньше это *memento mori*, обращенное как к человечеству, так и к отдельным личностям, представляло вечно терзающее жало и как бы пик средневекового знания и средневековой совести. Провозглашенный новейшей эпохой в виде протеста лозунг *memento vivere*¹ звучит пока, говоря откровенно, довольно робко, произносится не во весь голос и едва ли не заключает в себе что-то неискреннее. Ибо человечество еще прочно сидит на *memento mori* и выдает это обстоятельство своей универсальной потребностью в истории: знание, несмотря на свой могучий размах, не сумело еще вырваться на волю, глубокое чувство безнадежности еще осталось и приняло ту историческую окраску, которая в настоящее время окутывает меланхолической дымкой все наше высшее образование и воспитание. Религия, для которой из всех часов человеческой жизни наиболее важным является последний, которая предсказывает прекращение земной жизни вообще и заставляет всех живущих жить, так сказать, в пятом акте трагедии, конечно, пробуждает глубочайшие и благороднейшие силы, но она враждебна всякому насаждению нового, всякому смелому опыту, всякому свободному желанию; она противится всякому полету в область неизвестного, так как там у нее нет ни привязанностей, ни надежд; она мирится с вновь возникающим, только скрепя сердце, чтобы при первом удобном случае отодвинуть его в сторону и принести в жертву, как соблазн к жизни, как ложь в оценке бытия. То же, что сделали флорентийцы, когда под впечатлением покаянных проповедей Савонаролы они устроили знаменитое аутодафе из картин, рукописей, зеркал и масок, готово сделать христианство с каждой культурой, которая побуждает к стремлению вперед и избирает своим девизом упомянутое *memento vivere*, и если оно не может добиться этого прямым путем, без околичностей, то есть путем применения силы, то оно достигает все же этой своей цели, действуя в союзе с историческим

1 помни о жизни (лат.).

образованием, по большей части даже без ведома последнего, и, говоря затем от его имени, пожимая плечами, отрицает все вновь возникающее, стараясь набросить на него оттек чего-то крайне запоздалого и свойственного эпигонам, короче говоря, характер прирожденной седины. Проникнутые горечью и глубокомысленно-серьезные размышления о тщете всего земного, о близости страшного суда приняли теперь более утонченную форму скептического сознания, в силу которого быть знакомым со всем, что происходило раньше, хорошо потому, что все равно уже слишком поздно создавать что-нибудь лучшее. Таким путем историческое чувство делает его обладателей пассивными и ретроспективными, и разве только в момент минутного самозабвения, когда именно это чувство временно перестает действовать, страдающий исторической лихорадкой человек становится активным, чтобы сейчас же по совершении какого-либо действия подвергнуть его анатомическому сечению, задержать при помощи аналитического рассмотрения дальнейшее его влияние и препарировать его как «историю». В этом смысле мы еще живем в средние века, а история продолжает оставаться замаскированной теологией, так же как и почтительность, с которой неученый профан относится к касте ученых, ведет свое происхождение от благоговения перед духовными лицами. То, что раньше воздавалось церкви, то воздается и теперь, хотя в более скромных размерах, науке; но факт этой жертвы вообще есть результат прежнего влияния церкви, а не современного духа, который при всех своих других достоинствах отличается, как известно, некоторой скарденностью и плохо знаком с благородной добродетелью щедрости.

Быть может, это замечание не понравится и встретит так же мало сочувствия, как сделанная выше попытка вывести избыток истории из средневекового *memento mori*, а также из той безнадежности, с которой христианство в глубине своего сердца относится ко всем грядущим эпохам земного существования. Пусть попытаются подыскать на место приведенного объяснения, принятого мною также не совсем без колебаний, лучшие объяснения, ибо что касается происхождения исторического образования – и его внутреннего, во всех отношениях коренного противоречия

духу «нового времени» и «современного сознания», – то это происхождение *должно* быть в свою очередь объяснено исторически, история *должна* сама разрешить проблему истории, знание *должно* обратить свое жало против самого себя – это тройной *долженствование* и есть императив духа «нового времени», если действительно в последнем имеются элементы чего-то нового, могучего, жизнеспособного и изначального. Или же правы те, кто говорит, что мы, немцы (если оставить в стороне романские народы) во всех высших проявлениях культуры осуждены быть постоянно только «потомками» потому, что мы только и *можем* быть ими; это весьма спорное положение было высказано однажды Вильгельмом Вакернагелем в такой форме: «Мы, немцы, народ потомков, мы со всем нашим высшим знанием и даже с нашей верой только наследники античного мира; даже те, кто, будучи враждебно к этому настроены, и не хотели бы этого, вдыхают непрерывно наряду с духом христианства также и бессмертный дух древнеклассического образования, и если бы кому-нибудь удалось исключить эти два элемента из жизненной атмосферы, окружающей внутреннего человека, то вряд ли бы от нее осталось достаточно для поддержания духовной жизни». Но если бы даже мы охотно успокоились на том, что наше призвание – быть наследниками древнего мира, если бы мы даже решились неуклонно рассматривать это наше призвание во всей его строгости и величии и в этой неуклонности видели бы наше почетное и единственное преимущество, то мы тем не менее были бы вынуждены спросить себя, действительно ли вечное наше назначение должно заключаться в том, чтобы быть *потомками древнего мира на его закате*. Да будет же нам однажды разрешено ставить себе шаг за шагом все более высокие и далекие цели, да будет же за нами некогда признана та заслуга, что мы воспроизвели в себе дух александрийско-римской культуры – в том числе и благодаря нашей универсальной истории – в таких плодотворных и грандиозных формах, что, в качестве благороднейшей награды, у нас появится право поставить себе еще более грандиозную задачу – связать себя с миром, лежащим за и вместе с тем над александрийской эпохой, и смело направить свои поиски за идеалами в древнегреческий исконный мир ве-

ликого, естественного и человеческого. *И вот там-то мы находим реальность по существу неисторической культуры и вместе с тем, несмотря на это или скорее благодаря этому, культуры несказанно богатой и жизненной.* И даже будь мы, немцы, не чем иным, как потомками, мы могли бы, рассматривая такую культуру как наследство, которое мы должны усвоить себе, видеть наше величие и гордость именно в том, чтобы быть потомками.

Этим я хочу сказать только, что даже зачастую мучительное для нас сознание, что мы только эпигоны, может, при широком его понимании, служить залогом и стимулом великого будущего, как для отдельной личности, так и для целого народа. Все это в том случае, конечно, если мы признаем себя наследниками и потомками изумительных сил классического мира и усматриваем в этом нашу честь, наше отличие. Мы никоим образом не должны смотреть на себя как на выцветших и захиревших последышей сильных поколений, – последышей, ведущих жалкое существование антиквариетов и могильщиков этих поколений. Таким последышам действительно выпадает в удел ироническое существование: разрушение следует за ними по пятам на всем течении их убогого жизненного странствия; они содрогаются перед этим разрушением, наслаждаясь прошлым, ибо они являют собой ходячую память, без наследников же накопленные ими воспоминания ничего не стоят. Поэтому их охватывает смутное предчувствие, что их жизнь исполнена несправедливости, ибо она не может быть оправдана никакой грядущей жизнью.

Представим себе, что у этих последышей-антиквариетов на смену такой иронично-болезненной скромности внезапно явится беззастенчивость; представим себе, что они зычным голосом возвестили бы: наше поколение на вершине своего развития, ибо только теперь оно обладает знанием о самом себе и только теперь оно само себе открылось, – тогда нам откроется зрелище, которое, подобно притче, истолкует загадочное значение для немецкой культуры одной весьма знаменитой философской системы. Я думаю, что в истории немецкой культуры за последнее столетие мы не найдем ни одного опасного колебания или уклонения, которое не стало еще опаснее благодаря громадному

и продолжающемуся до настоящей минуты влиянию этой философии, именно гегелевской. Поистине парализует и удручает вера в то, что ты последыш времен, но ужасной и разрушительной представляется эта вера, когда в один прекрасный день она путем дерзкого поворота мыслей начинает обоготворять этого последыша как истинную цель и смысл всего предшествовавшего развития, а в ученом убожестве его видит завершение всемирной истории. Такой способ мышления приучил немцев говорить о «мировом процессе» и оправдывать свою эпоху как необходимый результат всемирного процесса; эта точка зрения поставила историю на место других духовных сил, искусства и религии, как единственную верховную силу, поскольку она является «реализующим самое себя понятием», «диалектикой духа народов» и «страшным судом».

Эту понятную на гегелевский лад историю в насмешку назвали земным шествием Бога, хотя названный Бог есть, в свою очередь, лишь продукт самой истории. Но этот Бог стал сам себе прозрачно ясным и понятным в недрах гегелевского мозга и успел пройти все диалектически возможные ступени своего развития, вплоть до упомянутого самооткровения, так что для Гегеля вершина и конечный пункт мирового процесса совпали в его собственном берлинском существовании. Мало того, ему бы следовало сказать, что все, что произойдет после него, в сущности должно рассматриваться только как музыкальная кода всемирно-исторического рондо или, еще точнее, как нечто совершенно ненужное и лишнее. Этого он не сказал, но зато привил пропитанным его философской закваской поколениям то восхищение перед «властью истории», которое на практике постоянно вырождается в голое преклонение перед успехом и идолопоклонство перед фактом, для каковой цели теперь приспособили крайне мифологическое и, сверх того, весьма немецкое выражение «считаться с фактами». Но кто привык с самого начала гнуть спину и склонять голову перед «властью истории», тот под конец станет, подобно китайскому болванчику, механически поддакивать всякой власти, будет ли то правительство, общественное мнение или численное большинство, и двигать своими членами строго в такт с движениями нитки, за которую дергает какая-нибудь

управляющая им «власть». Если каждый успех заключает в себе какую-нибудь разумную необходимость, если каждое событие есть победа логического или «идеи», то нам остается только стремительно преклонить колени и в этой позе пройти всю лестницу «успехов»! И после этого вы говорите, что время господства мифологии прошло или что религии находятся в состоянии вымирания? Взгляните только на религию исторического могущества, обратите внимание на священнослужителей мифологии идей и их израненные колена! И разве мы не видим, что даже сами добродетели шествуют в свите этой новой веры? Разве это не самоотречение, когда исторический человек позволяет превратиться себя в объективное зеркало? Разве это не великодушие, когда он отрывается от всякой власти на небе и земле, преклоняясь в лице каждой власти перед властью самой по себе? Разве это не справедливость, когда он постоянно держит в руках чаши весов, зорко наблюдая, которая, как более тяжелая, перевесит другую? А какой школой благоприличия является такое отношение к истории! Все рассматривать объективно, ни на что не гневаться, ничего не любить, все понимать – это делает человека столь кротким и гибким; и даже тогда, когда один из воспитанников названной школы начинает публично негодовать и раздражаться, этому только радуются, ибо все хорошо знают, что это нужно понимать в смысле артистическом и что это есть *ira*¹ и *studium*² и в то же время вполне *sine ira et studio*³.

Какие устарелые мысли вызывает в моей душе зрелище такого сочетания мифологии и добродетели! Но мне надо их высказать, и пускай над ними смеются, сколько угодно. Я бы сказал так: история постоянно твердит: «так было однажды», а мораль: «вы не должны» или «вы не должны были бы». С этой точки зрения история является в действительности компендиумом фактической безнравственности. В какую грубую ошибку впал бы тот, кто стал бы рассматривать историю в то же время и как судью этой фактической безнравственности! Так, например, тот факт, что Рафаэлю

1 гнев (*лат.*).

2 пристрастие (*лат.*).

3 без гнева и пристрастия (*лат.*).

пришлось умереть, едва достигнув 36 лет, оскорбляет наше нравственное чувство: существо, подобное Рафаэлю, не должно умирать. Если же вы хотите прийти на помощь истории в качестве апологетов факта, вы скажете: он выразил все, что имел выразить, а если бы и продолжал жить, то постоянно творил бы столь же прекрасное, но не создавая новой красоты и т.д. Но, идя этим путем, вы становитесь адвокатами дьявола и именно потому, что вы из успеха, из факта делаете себе идола, в то время как факт всегда глуп и во все времена походил скорее на тельца, чем на Бога. Но, кроме того, вам, как апологетам истории, служит суфлером также и невежество: ибо только потому, что вы не знаете, что представляет собой такая *natura naturans*¹, как Рафаэль, вы можете оставаться равнодушным к тому, что он был и что его больше не будет. По поводу Гёте нас недавно тоже кто-то хотел просветить, утверждая, что в свои 82 года он уже пережил себя; а я все-таки охотно променял бы целые возы свежих высокосовременных жизней на несколько лет «пережившего себя» Гёте, чтобы быть еще участником таких бесед, какие вел Гёте с Эккерманом, и чтобы этим способом избавиться от всех нынешних поучений со стороны легионеров минуты. Сколь немногие из живущих имеют вообще право жить, когда такие люди умирают! Что живы многие и что тех немногих уже нет в живых, это – только грубая истина, т.е. непоправимая глупость, неуклюжее «так уж заведено», противопоставленное моральному «этого не должно было быть». Да, противопоставленное моральному! Ибо о какой бы добродетели мы ни говорили – о справедливости, о великодушии, о храбрости, о мудрости и сострадании человека, – везде он добродетелен потому, что он восстает против этой слепой власти фактов, против тирании действительного и подчиняется при этом законам, которые не тождественны с законами исторических приливов и отливов. Он плывет всегда против исторического течения, борется ли он со своими страстями, как ближайшей к нему формой окружающей его нелепой действительности, или стремится быть честным, в то время как вокруг него ложь плетет свои блестящие сети. Если бы даже во-

1 творящая природа (*лат.*).

обще история не представляла собой ничего, кроме «мировой системы страсти и заблуждения», то человек должен был бы так читать ее, как Гёте некогда советовал читать «Вертера», то есть слышать в ней зов: «Будь мужем и не следуй моему примеру!» К счастью, она сохраняет и память о великих борцах *против истории*, то есть против слепой власти действительного, и пригвозждает себя сама к позорному столбу тем, что выделяет в качестве подлинных исторических натур именно те натуры, которые, мало заботясь о «так оно обстоит», с радостной гордостью подчиняют свою деятельность принципу «так должно быть». Не хоронить свое собственное поколение, но *создать новое поколение* – вот цель, которая неустанно увлекает их вперед; и если даже сами они родились последышами – существует такой род жизни, который может заставить забыть это, – грядущее поколение будет знать их только как первенцев.

9

Не есть ли, быть может, наше время такой первенец? – И в самом деле, острота его исторического чувства так велика и выражается в столь универсальной и прямо безграничной форме, что, по крайней мере, в этом будущие эпохи признают его первенство – если вообще эти *будущие эпохи* в смысле культурном когда-либо наступят. Но именно в этом пункте остаются тяжкие сомнения. В современном человеке рядом с гордостью уживается ироническое отношение к самому себе, сознание, что ему придется жить в историзирующем и как бы вечернем настроении, и страх, что он не сумеет ничего сохранить для будущего из своих юношеских надежд и юношеских сил. В некоторых отношениях идут еще дальше, вплоть до *цинизма*, оправдывая исторический ход вещей или даже всего мирового развития исключительно интересами современного человека согласно циническому канону: все совершилось именно так, как и должно было, современный человек именно таков, каким исторически должен был стать, против этой необходимости никто не смеет восставать. Под спасительную сень такого рода цинизма спешит укрыться тот, кому не по силам

ирония; помимо этого последнее десятилетие предоставило в его распоряжение одно из своих лучших изобретений – именно громкую и закругленную фразу для выражения этого цинизма, характеризую его современное и в высшей степени беззаботное отношение к жизни как «полное растворение личности в мировом процессе». Личность и мировой процесс! Мировой процесс и личность земной блохи! Когда же мы наконец устанем вечно повторять эту гиперболу из гипербол, твердить это слово: «Мир, мир, мир», в то время как по совести каждый из нас должен был бы лишь повторять: «Человек, человек, человек!» Наследники греков и римлян? Христианства? Это в глазах циников не имеет никакой цены. Зато наследники мирового процесса!.. Вершина и мишень мирового процесса! Смысл и загадка всех загадок становления, отлившиеся в форму современного человека, этого наиболее зрелого из всех плодов древа познания! – вот что я называю высокоразвитым самомнением; по этому признаку можно узнать первенцев всех эпох, если бы даже они и явились последними. Так далеко еще никогда не заносилось историческое созерцание, даже и тогда, когда оно видело сны; ибо теперь история человечества есть только продолжение истории животного и растительного царства; даже на дне морском исторический универсалист ухитряется находить свои следы в виде живой слизи. Если мы удивляемся громадности пути, пройденного уже человеком, как некоему чуду, то взор наш останавливается с головокружительным изумлением, как на еще более поразительном чуде, на современном человеке, который достиг того, что может мысленно проследить весь этот путь; он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса; закладывая последний, замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть прислушивающейся к его словам природе: «Мы у цели, мы – сама цель, мы – венец природы!»

Ты ослеплен гордыней, европеец девятнадцатого столетия, ты безумствуешь! Твое знание не завершает природу, а, напротив, убивает твою собственную. Сопоставь хоть однажды высоту твоего познания с глубиной твоей немощи. Цепляясь за солнечные лучи знания, ты, правда, поднимаешься все ближе к небу, но также и спускаешься в хаос. Твой

способ передвижения, а именно – карабкание вверх по лестнице знания, является для тебя роковым; основа и почва ускользают из-под твоих ног куда-то в неизвестное; жизнь твоя лишается всех точек опоры и держится только на паутинных нитях, которые рвутся при каждом новом усилии твоего познания. – Но не стоит больше тратить по этому поводу серьезных слов, когда можно сказать нечто веселое.

Пусть моралист, художник, пиетист, даже политический деятель раздумывают над неистовым, неразумным раздроблением и разрушением всех фундаментов, растворением их в непрерывно-текущее и расплывающееся становление, неутомимостью, с какой современный человек, как паук-крестовик сидящей в центре всемирной паутины, исторически анатомирует все свершившееся. Мы же для развлечения сейчас рассмотрим все это, созерцаемое в магическом зеркале *философа-пародиста*, в чьей голове наше время дошло до иронического отношения к самому себе, и притом с доходящей «до нечестивости» (говоря по-гётевски) явственности. Гегель где-то поучает нас, что «когда дух делает шаг вперед, то философы двигаются вместе с ним»: наша эпоха сделала шаг к самоиронии и – гляди-ка! Э. фон Гартман очутился тут как тут и создал свою знаменитую философию бессознательного или, говоря точнее, свою философию бессознательной иронии. Редко нам случалось встречать более забавную выдумку и более удачные образчики философского плутовства, чем в сочинениях Гартмана; кто не уяснил себе процесса *становления* или не освободился внутренне от него благодаря Гартману, тот действительно созрел для прошедшего времени. Начало и цель мирового процесса, от первого недоумения сознания и до его обратного погружения в ничто, вместе с точно сформулированной задачей нашего поколения по отношению к мировому процессу, все это изображено с точки зрения бессознательного, в котором столь остроумно найден источник вдохновения и которое освещено каким-то апокалиптическим светом, все подделано столь искусно и с такой искренней серьезностью, как будто это действительно серьезная философия, а не философия в шутку, и все это, взятое в целом, заставляет видеть в авторе первого философского пародиста всех времен; принесем ввиду этого жертву на его алтарь, пусть

этой жертвой изобретателю истинного универсального лекарства будет локон – употребляя одно из выражений восторга Шлейермахера. Ибо, в самом деле, какое лекарство может быть целительнее против избытка исторического образования, как не гартмановская пародия на всемирную историю?

Если бы мы захотели выразить без прикрас то, что Гартман возвещает нам с высоты своего окутанного курениями треножника бессознательной иронии, то мы должны были бы сказать: он возвещает нам, что наше время именно таково, каким оно должно быть, если человечество действительно пресытится этим существованием, чему мы от всего сердца верим. То ужасное закоснение нашего времени, тот беспокойное похрустывание костями, которое Давид Штраус в своей наивности изобразил нам как прекраснейшую действительность, у Гартмана находит свое оправдание не только, так сказать, *sua*, *ex causis efficientibus*¹, но даже и *spere*, *ex causa finali*²; этот шутник рассматривает нашу эпоху в свете дня страшного суда, причем оказывается, что она очень хорошо именно для того, кто сам ищет возможно острых страданий от неудобоваримости жизни и кто ждет не дождется наступления страшного суда. Правда, Гартман называет возраст, к которому теперь приближается человечество, «возрастом возмужалости», а таковым, с его точки зрения, должно считаться то счастливое состояние, когда господствует только одна «золотая посредственность» и когда искусство делается тем, чем примерно для «берлинского биржевика является вечером фарс», когда «нет спроса на гениев, потому что это было бы равносильно метанию бисера перед свиньями или же потому что наша эпоха шагнула черед стадию, которой приличествовали гении, к более важной стадии», именно к той стадии социального развития, в которой каждый работник «благодаря рабочему времени, оставляющему ему достаточный досуг для его интеллектуальных запросов, может вести комфортное существование». Ах, шутник из шутников, ты высказываешь страстное желание современного человечества, но тебе в то же

1 из действующих причин (*лат.*).

2 из конечной причины (*лат.*).

время известно, что за призрак угрожает человечеству в конце этого возраста его возмужалости как результат такого интеллектуального развития до золотой посредственности – именно отвращение. Совершенно ясно, что сейчас положение дел крайне неутешительно, но что в будущем будет еще хуже: «антихрист все шире и шире раскидывает свои сети», но так *должно* быть, так *должно* происходить и впредь, ибо тем самым мы находимся на вернейшем пути к отвращению от всего существующего. «Поэтому без колебаний вперед по пути мирового процесса, как работники в вертограде Господнем, ибо только один процесс может нас привести к спасению!»

Вертоград Господень! Процесс! К спасению! Разве в этих словах не видно и не слышно голоса исторического образования, знающего только слово «становиться», умшенно замаскированного уродливой пародией и под прикрытием нелепой маски рассказывающего о себе самые невероятные небылицы! Ибо чего, в сущности, требует от работников в вертограде Господнем этот обращенный к ним лукавый призыв? К какой работе во имя неустанного движения вперед призывает их? Или, формулируя тот же вопрос иначе: что еще нужно сделать исторически образованному человеку, фанатику процесса, плывущему в потоке становления и уже захлебнувшемуся в нем, чтобы собрать жатву отвращения, этот драгоценнейший плод вертограда Господня? – Ему ничего не нужно предпринимать, а только продолжать жить, как он жил раньше, продолжать любить то, что он любил, продолжать ненавидеть то, что он ненавидел до сих пор, и продолжать читать газеты, которые он читал до сих пор; для него существует лишь один грех – жить иначе, чем он жил до сих пор. А как он жил до сих пор, об этом нам говорит с лапидарной ясностью та знаменитая страница с напечатанными крупным шрифтом тезисами, по поводу которых вся современная образованная чернь впала в слепой восторг и восторженное бешенство, ибо в этих тезисах она усмотрела оправдание своему собственному существованию, и притом оправдание с какой-то апокалиптической точки зрения. Ибо от каждой отдельной личности наш бессознательный пародист требовал «полного растворения личности в мировом процессе ради ко-

нечной цели последнего, спасения мира», – или, еще яснее и прозрачнее: «Утверждение воли к жизни провозглашается нами как единственно правильный предварительный принцип: ибо только путем полного слияния личности с жизнью и ее страданиями, а не путем малодушного самоотречения личности и удаления от света может быть что-нибудь сделано для мирового процесса»; «Стремление к отрицанию индивидуальной воли так же глупо и бесполезно, как самоубийство, или, может быть, даже еще глупее»; «Мыслящий читатель поймет и без дальнейших указаний, какую форму должна получить основанная на этих принципах практическая философия и то, что такая философия должна влечь за собой не разлад, а примирение с жизнью».

Мыслящий читатель поймет это; и как могли не понять Гартмана! И сколь бесконечно забавно, что его неправильно понимали! Так ли уж пронизательны современные немцы? Один прямодушный англичанин констатирует у них отсутствие *delicacy of perception*¹ и даже осмеливается утверждать, что «*in the German mind there does seem to be something splay, something blunt-edged, unhandy and infelicitous*²» – согласился ли бы с этим великий немецкий пародист? Хотя, по его объяснению, мы и приближаемся к «тому идеальному состоянию, в котором человеческий род будет сознательно творить свою историю», но совершенно ясно, что мы довольно далеки от того еще более идеального состояния, когда человечество сможет вполне сознательно прочесть книгу Гартмана. Когда же такое время наступит, то ни один человек не сумеет произнести без улыбки слова «мировой процесс», ибо при этом он непременно вспомнит о том времени, когда евангелие-пародия Гартмана воспринималось, впитывалось, оспаривалось, почиталось, распространялось и канонизировалось со всей простоватостью упомянутого *german mind* или даже, по выражению Гёте, с «карикатурной важностью совы». Но мир должен идти вперед, а то идеальное состояние, о котором шла речь выше, не может быть создано грезами, оно может лишь быть

1 тонкости восприятия (англ.).

2 в немецком сознании, похоже, есть что-то вывихнутое, что-то притупленное, неловкое и несчастное (англ.).

добыто в борьбе и завоевано, и путь к спасению, к избавлению от мнимой свиной важности лежит через веселую жизнерадостность. Это будет такое время, когда люди станут благоразумно воздерживаться от всяких сконструированных предположений насчет мирового процесса или даже истории человечества, – такое время, когда в центре внимания будут уже не массы, а снова отдельные личности, образующие своего рода мост через необозримый поток становления. И эти личности не представляют собой звеньев какого-нибудь процесса, но живут как бы одновременно и вне времени благодаря истории, которая делает возможным такое сотрудничество; они составляют как бы республику гениальных людей, о которых где-то рассказывает Шопенгауэр: один великан окликает другого через пустынные промежутки времени, и эти беседы исполинов духа продолжаются, не нарушаемые резвой суетой шумного поколения карликов, которые копошатся у их ног. Задача истории заключается в том, чтобы служить посредницей между ними и этим путем снова и снова способствовать созданию великого и давать ему силы. Нет, цель человечества не может лежать в конце его пути, а только в его высших экземплярах.

На это, правда, наш комик возражает нам со своей достойной изумления диалектикой, которая в такой же степени неподдельна, в какой ее поклонники заслуживают изумления: «Приписывать мировому процессу бесконечную продолжительность в прошедшем означало бы вступить в противоречие с понятием развития, ибо тогда всякое мыслимое развитие должно было быть уже пройдено, что, однако, не имеет места (ох и плут!); и точно так же мы не можем признать бесконечную длительность процесса в будущем; то и другое отменяло бы понятие развития в направлении цели (дважды плут!) и уподобило бы мировой процесс вычерпыванию воды данаидами. Окончательная победа логического над нелогическим (плут из плутов!) должна совпасть с завершением мирового процесса во времени, с днем Страшного суда!» Нет, ясный и насмешливый дух, пока нелогическое продолжает властвовать так же, как сейчас, пока, например, о «мировом процессе» можно при всеобщем одобрении рассуждать так, как ты рассуждаешь, день Страшного суда еще далек: ибо на этой земле еще слишком светло и

радостно, еще цветут некоторые иллюзии вроде, например, иллюзии твоих современников относительно тебя, мы еще недостаточно зрелы для того, чтобы быть снова низринутыми в твоё ничто: ибо мы верим в то, что здесь на земле станет еще веселее, как только начнут правильно понимать тебя, о непонятый Бессознательный. Если же все-таки волна отворачивания хлынет на человечество, как ты это предсказывал твоим читателям, если твоя характеристика современности и будущего окажется правильной – а никто ведь не относился к ним с таким презрением и отворачиванием, как ты, – то я готов голосовать вместе с большинством в предложенной тобой форме за то, чтобы твой мир погиб в ближайшую субботу в 12 часов ночи; и принятый нами закон пусть заканчивается такими словами: с завтрашнего дня время перестанет существовать и газеты пусть не выходят более. Но, может быть, ожидаемого эффекта не последует и наше голосование будет напрасно: ну, тогда у нас, во всяком случае, останется достаточно времени для следующего интересного эксперимента. Возьмем весы и положим на одну чашу гартмановское Бессознательное, а на другую – гартмановский Мировой процесс. Есть люди, которые полагают, что чаши весов будут в равновесии: ибо в каждой чаше мы имели бы по одинаково страшному слову и по одинаково доброй шутке. Стоит только понять шутку Гартмана, и никто уже не будет говорить о его «мировом процессе» иначе как в шутку. В самом деле, давно пора весь арсенал сатирической злости пустить в ход против излишеств исторического чувства, против чрезмерного увлечения процессом в ущерб бытию и жизни, против необдуманного отодвигания всех перспектив; а творцу философии бессознательного нужно поставить в неумирающую заслугу, что ему первому удалось остро ощутить все то смешное, что связано с представлением о «мировом процессе», и еще острее дать почувствовать это своим читателям при помощи нарочитой серьезности изложения. Для чего существует «мир», для чего существует «человечество» – этим мы пока заниматься не станем, разве только нам вздумается немного позабавиться: ибо дерзость маленького червяка-человека не есть ли самое забавное и самое веселое из всего совершающегося на земной сцене; но для чего существу-

ет отдельный человек – вот что ты должен спросить у самого себя, и если бы никто не сумел тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание своему существованию, как бы *a posteriori*, ставя себе самому известные задачи, известные цели, известное «ради», высокое и благородное «ради». Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель – я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть от великого и невозможного, *animae magnae prodigus*¹. Если же, напротив, учения о верховности становления, о текучести всех понятий, типов и родов, об отсутствии серьезного различия между человеком и животным, – учения, которые я считаю хотя и истинными, но смертоносными, – будут хотя бы в течение одного человеческого века распространяться среди народных масс с обычным для нашего времени просветительским рвением, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности и эгоистическому ничтожеству, благодаря закоснению и себялюбию, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом; на месте последнего на арене будущего, может быть, появятся системы отдельных эгоизмов, будут образовываться братства в целях хищнической эксплуатации всех стоящих вне братств и тому подобные создания утилитарной пошлости. Чтобы расчистить почву для таких организаций, нужно только продолжать излагать историю с точки зрения *масс* и стараться открыть в истории такие законы, которые могут быть выведены из потребностей этих масс, то есть законов движения низших слоев общества. Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях: прежде всего, как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем, как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей; в остальном же побери их черт и статистика! Как? Статистика, по вашему мнению, доказывает, что в истории есть законы? Законы? Да, она показывает нам, насколько пошла и до тошноты однообразна масса; но разве действие сил тяготения, глупости, рабского подражания, любви и голода можно называть законами? Хорошо, допустим это; но тогда мы долж-

1 не щадя своей дорогой жизни (*лат.*).

ны признать правильность и такого положения: поскольку в истории действуют законы, постольку эти законы не имеют никакой цены, как не имеет никакой цены тогда и сама история. Но в настоящее время как раз и пользуется всеобщим признанием тот род истории, который видит в главных инстинктах масс наиболее важные и значительные факторы истории, а на всех великих людей смотрит как на наиболее яркое выражение их, как на род пузырьков на поверхности воды. При этом масса сама по себе должна порождать великое, а хаос – порядок; и в заключение, конечно, затыгивают гимн в честь творческих способностей масс. «Великим» с этой точки зрения называют все то, что двигало в течение более или менее продолжительного времени такими массами и что представляло собой, как говорят, «историческую силу». Но не значило ли бы это умышленно смешивать количество и качество? Если грубой массе припала по душе какая-либо идея, например, религиозная, если она упорно защищала ее и в течение веков цепко за нее держалась, то следует ли отсюда, что творец данной идеи должен считаться в силу этого и только в силу этого великим человеком? Но почему, собственно? Благоднейшее и высочайшее совершенно не действует на массы; исторический успех христианства, его историческая мощь, живучесть и прочность – все это, к счастью, ничего не говорит в пользу величия его основателя, ибо, в сущности, оно говорило бы против него; но между ним и тем историческим успехом христианства лежит весьма земной и темный слой страстей, ошибок, жажды власти и почестей, действующих и поныне сил *imregium romanum*, то есть тот слой, от которого христианство получило земной привкус и земной придачок, обусловившие возможность его существования в этом мире и как бы обеспечившие его устойчивость. Величие не должно зависеть от успеха; и Демосфен завоевал величие, хотя он и не имел успеха. Наиболее чистые и наиболее искренние из последователей христианства всегда относились скептически к его светским успехам, к его так называемому «историческому влиянию» и скорее старались парализовать их, чем способствовать им; ибо они обыкновенно ставили себя вне «мира сего» и не заботились о «процессе христианской идеи»; благодаря этому они в большинстве

случаев и остались совершенно неизвестными и безымянными в истории. Или, выражаясь по-христиански: владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является дьявол; он есть истинная сила всех исторических сил и так будет, в сущности, всегда, хотя это, может быть, и покажется весьма обидным для эпохи, которая привыкла преклоняться перед успехом и исторической силой. Эта эпоха приобрела большой навык именно в искусстве давать вещам новые имена и даже дьявола ухитрилась окрестить по-новому. Несомненно, мы переживаем час великой опасности: человечество, по-видимому, весьма близко к открытию той истины, что рычагом исторических движений всегда служил эгоизм отдельных лиц, групп или масс; в то же время это открытие отнюдь не возбуждает ни в ком тревоги, напротив, оно возводится в степень закона: эгоизм да будет нашим богом. Опираясь на эту новую веру, мы собираемся совершенно осознанно возводить здание будущей истории на фундаменте эгоизма, но только этот эгоизм должен быть эгоизмом разумным, то есть таким, который сам на себя налагает известные ограничения, чтобы прочнее укрепиться в своих позициях, и который изучает историю именно с целью узнать, что представляет собой эгоизм неразумный. Такого рода занятие историей научило нас, что в образовавшейся мировой системе эгоизмов на долю государства выпадает особая миссия: оно должно стать покровителем всех разумных эгоизмов для того, чтобы оградить их при помощи своей военной и полицейской силы от ужасных взрывов неразумного эгоизма. Для той же цели неразумным и потому опасным народным и рабочим массам тщательно прививается история, и именно история животного царства и история человечества, ибо известно, что даже крупица исторического образования в состоянии сломить силу грубых и тупых инстинктов и страстей или направить их в русло утонченного эгоизма. In summa: современный человек, говоря словами Э. фон Гартмана, «озабочен устройством здесь, на своей земной родине, удобного и комфортабельного жилья, имеющего в виду будущее». Этот же самый писатель называет подобную эпоху «зрелым возрастом человечества» – как бы в насмешку над тем, что теперь называется «мужем», словно под этим последним словом понимается только «трезвый

себялюбец». После «зрелого возраста» он предсказывает соответствующую старость; очевидно, только глумясь над нашими современными старцами, он не раз упоминает о той зрелой созерцательности, с которой они «оглядываются назад, на бурные треволения прожитых годов, и понижают всю тщету прежних ложных целей их стремлений». Нет, зрелому возрасту этого лукавого и исторически образованного эгоизма соответствует такой старческий возраст, который с отвратительной и унижительной жадностью цепляется за жизнь, а затем последний акт, в котором

«Конец всей этой странной, сложной пьесы –

Второе детство, полузабытье:

Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.»

Все равно, угрожает ли нашей жизни и нашей культуре опасность от этих беспутных, лишенных зубов и вкуса старцев или от так называемых мужей Гартмана, будем зубами отстаивать против тех и других права нашей *молодости* и неустанно защищать в нашей молодости будущее от покушений этих иконоборцев будущего. Но в этой борьбе нам предстоит сделать еще одно особенно неприятное наблюдение, а именно, что *эта болезнь века – злоупотребление чувством истории – умышленно поддерживается и развивается с тем, чтобы использовать ее в известных целях.*

Ею пользуются как средством, чтобы привить юношеству этот тщательно насаждаемый повсюду эгоизм зрелого возраста; ею пользуются, чтобы при помощи магического научного освещения, в котором предстает этот мужественный и в то же время недостойный мужчины эгоизм, побороть в юношестве естественное отвращение к этой болезни. Да, мы хорошо знаем, к каким результатам может привести чрезмерное преобладание истории, мы слишком хорошо это знаем; оно может в корне подрезать наиболее могучие инстинкты юности: юношеский огонь, юношеский задор, способность к самозабвению и любви, охладить пыл приущего ей чувства справедливости, подавить или оттеснить на второй план стремление к медленному созреванию посредством противоположного стремления возможно скорее сделаться готовым, полезным и продуктивным, привить яд сомнения юношеской честности и смелости чув-

ства; более того, история может лишиться юность ее главного преимущества – способности проникаться глубокой верой в великую идею и претворять ее в недрах своего существа в еще более великую идею. Все это может натворить переизбыток истории, мы это видели; а именно – тем, что она путем постоянного сдвигания горизонтов и перспектив и устранения предохраняющей атмосферы не позволяет человеку чувствовать и действовать *неисторически*. От безграничных горизонтов он обращается тогда к самому себе, в свою узкую, эгоистическую сферу, в которой он неизбежно завянет и засохнет; может быть, ему удастся таким способом достигнуть благоразумия, но ни в коем случае мудрости. Он доступен убеждению, он умеет считаться с обстоятельствами и приспособливаться к ним, хорошо владеет собой, смекает и умеет извлечь выгоду для себя и своей партии из чужой выгоды или вреда; он отбрасывает излишнюю стыдливость и таким путем, шаг за шагом, превращается в гартмановского зрелого «мужа» и «старца». Но это и есть то, во что он *должен* превратиться, именно в этом и заключается смысл предъявляемого теперь с таким цинизмом требования «полного растворения личности в мировом процессе» – ради цели последнего, то есть спасения мира, как нас уверяет шутник Э. фон Гартман. Сомнительно, чтобы желанием и целью этих гартмановских «мужей» и «старцев» было именно спасение мира, но, несомненно, мир был бы ближе к спасению, если бы ему удалось избавиться от этих мужей и старцев. Ибо тогда наступило бы царство юности.

10

Упомянув здесь о *юности*, я готов воскликнуть: земля! земля! Довольно, слишком довольно этих страстных исканий и скитаний по чужим незнакомым морям! Теперь вдали наконец виднеется берег; каков бы он ни был, мы должны к нему пристать, и наихудшая гавань лучше, чем скитание и возвращение в безнадежную, скептическую бесконечность. Будем крепко держаться обретенной земли, мы всегда сумеем найти потом хорошие гавани и облегчить потомству возможность пристать к ним.

Опасно и полно тревог было это плавание. Как далеки мы теперь от той спокойной созерцательности, с которой мы поначалу выходили в открытое море! Исследуя шаг за шагом опасности истории, мы увидели, что сами подвергнуты в сильнейшей степени всем этим опасностям; мы носим на самих себе следы тех страданий, которые выпали на долю людей новейшего поколения вследствие избытка истории, и именно это исследование, чего я отнюдь не намерен скрывать от себя, носит вполне современный характер, характер слабовыраженной индивидуальности, проявляющейся в неумеренности его критики, в незрелости его человечности, в частом переходе от иронии к цинизму, от самоуверенности к скептицизму. И все-таки я полагаюсь на ту вдохновляющую силу, которая, как гений, направляет мой корабль. И все-таки я верю, что *юность* направила меня на истинный путь, *заставив меня протестовать против исторического образования современного юношества* и заставив меня требовать, чтобы человек прежде всего учился жить и пользовался историей только для *служения познанной жизни*. Нужно быть юным, чтобы понимать этот протест, более того: при преждевременном седовласии нашего теперешнего юношества нельзя быть достаточно юным, чтобы почувствовать, против чего, в сущности, здесь протестуют. Я поясню это примером. Не далее как столетие тому назад в Германии в некоторых молодых людях пробудилось естественное тяготение к тому, что называют поэзией. Можно ли заключить отсюда, что их современники и предшественники никогда не заикались об этом внутренне им чуждом и с их точки зрения неестественном искусстве? Напротив, мы знаем как раз обратное: что эти поколения по мере своих сил размышляли, писали, спорили о «поэзии» посредством слов о словах, словах, словах. Но наступившее пробуждение слова к жизни вовсе не повлекло за собой исчезновения тех кропателей слов; в известном смысле они живы и поныне; ибо если, как говорит Гиббон, не требуется ничего, кроме времени, хотя и многого времени, для того чтобы погибла известная эпоха, то точно так же не нужно ничего, кроме времени, хотя и гораздо большего времени, чтобы в Германии, «этой стране постепенности», исчезло навсегда какое-либо ложное понятие. Во всяком случае, понимающих поэзию людей

теперь найдется, пожалуй, на сотню больше, чем столетие тому назад; может быть, через сто лет найдется еще сотня людей, которые за это время научатся понимать, что такое культура, а также и то, что у немцев нет до сих пор никакой культуры, как бы они ни распространялись и ни важничали на сей счет. Им столь распространенная ныне удовлетворенность немцев своим «образованием» будет казаться в такой же степени невероятной и такой же нелепой, как нам – некогда общепризнанная классичность Гютшеда или возведение Рамлера в сан немецкого Пиндара. Они, может быть, придут к выводу, что это образование есть только известный вид знания об образовании, и к тому же совершенно ложного и поверхностного знания. Ложным же и поверхностным оно было потому, что допускало противоречие между жизнью и знанием и не замечало характерной черты в образовании действительно культурных народов, а именно – что культура может вырасти и развиваться лишь на почве жизни, в то время как у немцев ее прикалывают, как бумажный цветок, или поливают сверху, как глазурь на торт, и потому она всегда остается живой и бесплодной. Немецкое же воспитание юношества опирается именно на это ложное и бесплодное представление о культуре: тут конечной ее целью, понимаемой в чистом и высоком смысле, является вовсе не свободный человек культуры, но ученый человек науки, и притом такой человек науки, которого можно использовать возможно раньше и который отстраняется от жизни, чтобы возможно точнее познать ее; результатом такого воспитания с общеэмпирической точки зрения является историческо-эстетический образованец, умный не по летам и самонадеянный болтун о государстве, церкви и искусстве, вместилище для тысячи разнообразных ощущений, ненасытный желудок, который тем не менее не знает, что такое настоящие голод и жажда. Что воспитание, поставившее себе подобные цели и приводящее к таким результатам, противоестественно, это чувствует только тот, кто еще окончательно не сложился под влиянием его, это чувствует только инстинкт юности, ибо только она сохраняет еще инстинкт естественного, который это воспитание может заглушить лишь при помощи искусственных и насильственных мер. Но кто, в свою очередь, пожелал бы бо-

роться с таким воспитанием, тот должен помочь юношеству сказать свое слово, должен осветить бессознательное юношеское сопротивление светочем понимания и довести его до ясного, громко заявляющего о своих правах сознания. А как достигнуть такой мудреной цели?

Прежде всего уничтожением известного предрассудка – а именно, веры в *необходимость* упомянутого воспитательного приема. Существует же мнение, что невозможна никакая иная действительность, кроме нашей современной, крайне убогой, действительности. Если бы кто-нибудь вздумал проверить этот факт на литературе, посвященной высшему школьному образованию и воспитанию за последние десятилетия, то он был бы неприятно удивлен, заметив, насколько, при всех колебаниях и противоречиях, однообразны господствующие представления о конечной цели образования, насколько единодушно и решительно продукт предшествующего развития – «образованный человек», как его теперь понимают, – принимается за необходимую и разумную основу всякого дальнейшего воспитания. И это единодушие нашло бы себе выражение, вероятно, в следующей формуле: «Юноша должен начать с науки об образовании, но не с науки о жизни и уж ни в коем случае не с самой жизни или жизненного опыта». Эта наука об образовании внедряется к тому же в головы юношей как историческое значение; другими словами, головы их начиняются невероятным количеством понятий, выведенных на основании весьма отдаленного знакомства с эпохами и народами прошлого, но отнюдь не на основании прямого наблюдения над жизнью. Страстная потребность юноши узнать что-нибудь собственными силами, страстная потребность чувствовать, как внутри его зреет стройная и живая система собственных переживаний, – эти потребности всячески стараются в нем приглушить и как бы опьянить, пробуждая в нем соблазнительную, но ложную уверенность, что можно в течение немногих лет переработать в себе важнейшие и замечательнейшие результаты и опыты прошлых эпох, и притом величайших эпох. Это тот же претенциозный метод, в силу которого наши молодые художники изучают искусство в музеях и галереях вместо того, чтобы изучать его в мастерских великих художников, и прежде всего в един-

ственной в своем роде мастерской единственной великой мастерицы – природы. Как будто поверхностной прогулки по владениям истории достаточно для того, чтобы перенять у прошлых времен их приемы и уловки и усвоить себе их жизненные итоги! Или как будто сама жизнь не есть известное ремесло, которое мы должны основательно и неустанно изучать и, не щадя усилий, упражняться в нем, если мы не хотим, чтобы им завладели дилетанты и болтуны!

Платон думал, что первое поколение его нового общества (в совершенном государстве) должно быть воспитано при помощи могучей *вынужденной лжи*; дети должны быть воспитаны в уверенности, что они уже раньше жили под землей, как бы в состоянии сна, где их лепил и формовал по своему усмотрению творец природы. Немыслимо поэтому восставать против прошлого! Немыслимо противодействовать делу богов! Таков нерушимый закон природы: кто родился философом, тот сделан из золота, кто родился стражем, тот сделан из серебра, а ремесленник – из железа и сплавов. Как невозможно, говорит Платон, сплавить вместе эти металлы, так невозможно будет когда-либо уничтожить кастовое устройство и перемешать касты друг с другом; вера в *aeterna veritas*¹ этого устройства и есть фундамент нового воспитания и вместе с тем нового государства. Совершенно так же верит и современный немец в *aeterna veritas* своего воспитания и своего вида культуры; и все-таки эта вера погибнет, как погибло бы платоновское государство, если бы необходимой лжи была противопоставлена необходимая истина: у немца нет своей культуры, ибо он не может обладать ею благодаря своему воспитанию. Он хочет цветка без корня и стебля, и поэтому хочет его напрасно. Такова простая истина, неприятная и неизящная, – поистине вынужденная истина.

Но на этой вынужденной истине должно быть воспитано *наше первое поколение*; ему, разумеется, придется в особенности сильно страдать от нее, ибо оно должно с ее помощью воспитывать само себя, и притом воспитывать в себе в борьбе с самим собой новые привычки и новую природу взамен старой и первоначальной природы и привы-

1 вечную истину (лат.).

чек, так что оно могло бы сказать самому себе на староиспанском наречии: «Defienda me Dios de tu» – да защитит меня Господь от меня самого, то есть от уже привитой мне воспитанием природы. Оно должно усваивать себе эту истину каплю за каплей, как горькое и противное лекарство, и каждый отдельный член этого поколения должен решиться произнести над самим собой тот приговор, с которым ему легче было бы примириться, если бы приговор этот относился вообще ко всей эпохе: у нас нет образования, мы непригодны для жизни, мы не способны правильно и просто смотреть и слушать, мы утратили счастливую способность схватывать ближайшее и естественное, и до настоящего времени мы не заложили даже фундамента культуры, ибо сами не убеждены в том, что мы живем настоящей жизнью. Мы распались на мелкие куски, мы в нашем целом разделены полумеханически на внутреннее и внешнее, мы усеяны понятиями, как драконьими зубами, из которых вырастают понятия-драконы; мы страдаем болезнью слов, не доверяя никакому собственному ощущению, если оно еще не запечатлено в форме слов; в качестве такой мертвой и в то же время жутко шевелящейся фабрики понятий и слов я, может быть, еще имею право сказать о себе самом: cogito, ergo sum, но не vivi, ergo cogito¹. За мной обеспечено право на пустое «бытие», а не на полную и цветущую «жизнь»; мое первоначальное ощущение служит мне порукой лишь в том, что я являюсь мыслящим, но не в том, что я являюсь живым существом, порукою в том, что я не animal, а разве только в крайнем случае – cogital. Подарите мне сначала жизнь, а я уж создам вам из нее культуру! – Так восклицает каждый отдельный член этого первого поколения, это пароль, по которому все эти индивидуумы будут узнавать друг друга. Но кто подарит им эту жизнь?

Не бог и не человек, а только их собственная *юность*: снимите с нее оковы, и вы вместе с нею освободите и жизнь. Ибо она только до поры до времени скрывалась в темнице, она еще не засохла и не завяла – об этом вы можете спросить самих себя.

¹ мыслю, следовательно, существую ... живу, следовательно, мыслю (*лат.*).

Но она больна, эта освобожденная от оков жизнь, и ее нужно лечить. У нее множество недугов, ее заставляют страдать не только воспоминания о прежних оковах, но и новая болезнь, которая нас здесь главным образом интересует, – *историческая болезнь*. Избыток истории подорвал пластическую силу жизни, она не способна больше пользоваться прошлым как здоровой пищей. Болезнь ужасна, и, тем не менее, если бы природа не наделила юность даром ясновидения, то никто бы не знал, что это болезнь и что рай здоровья нами утрачен. Та же самая юность при помощи все того же спасительного инстинкта природы угадывает, каким образом мы могли бы завоевать обратно этот рай; ей известны бальзамы и лекарства против исторической болезни, против избытка исторического: как же называются эти лекарства?

Пусть не удивляются, это названия ядов: средства против исторического называются *неисторическим* и *надисторическим*. Эти термины возвращают нас к исходным пунктам нашего исследования и к их спокойствию.

Словом «неисторическое» я обозначаю искусство и способность *забывать* и замыкаться внутри известного ограниченного *горизонта*; «надисторическим» я называю силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления, сосредоточивая его на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного, именно – на *искусстве* и *религии*. Наука – ведь о ядах говорила бы, конечно, она – видит в этой способности, в этих силах враждебные силы и способности: ибо она считает только такое исследование вещей истинным и правильным и, следовательно, научным, которое видит всюду совершившееся, историческое и нигде не видит существующего, вечного; она живет во внутреннем противоречии с вечными силами искусства и религии точно так же, как она ненавидит забвение, эту смерть знания, как она стремится уничтожить все ограничения горизонтами и погружает человека в бесконечно-безграничное световое море познанного становления.

Как может он жить в нем! Подобно тому, как при землетрясениях разрушаются и пустеют города и человек лишь боязливо и на скорую руку строит свой дом на вулканической почве, так жизнь колеблется в своих устоях и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки *сотрется*

ется почва понятий, отнимая у человека фундамент, на котором покоится его уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное. Должна ли господствовать жизнь над познанием, над наукой, или познание над жизнью? Какая из двух сил есть высшая и решающая? Никто не усомнится: жизнь есть высшая, господствующая сила, ибо познание, которое уничтожило бы жизнь, уничтожило бы вместе с нею и само себя. Познание предполагает жизнь и поэтому настолько же заинтересовано в сохранении жизни, насколько каждое существо заинтересовано в продолжении своего собственного существования. Поэтому наука нуждается в высшем надзоре и контроле; рядом с наукой возникает учение о *гигиене жизни*, а одно из положений этого учения гласило бы так: неисторическое и надисторическое должны считаться естественными противоядиями против заглупления жизни историческим, против исторической болезни. По всей вероятности, мы, больные историей, будем страдать также и от противоядий. Но то обстоятельство, что противоядия также причиняют нам страдания, не может считаться аргументом против правильности избранного метода лечения.

И вот в этом-то я и усматриваю миссию того *юношества*, того первого поколения борцов и истребителей змей, которое идет в авангарде более счастливого и более прекрасного образования и человечности, не получая от этого грядущего счастья и будущей красоты ничего, кроме многообещающего предчувствия. Это юное поколение будет одновременно страдать и от болезни, и от противоядий, и все-таки оно имеет больше прав говорить о своем более крепком здоровье и более естественной природе, чем предыдущие поколения – поколения образованных «мужей» и «старцев» современности. Миссия же его заключается в том, чтобы подорвать веру в понятия, которые господствуют теперь относительно «здоровья» и «образования», и возбудить ненависть и презрение к этим чудовищным понятиям-ублюдкам; и наивернейшим показателем более прочного здоровья этой молодежи должно служить именно то, что из всех ходячих слов и понятий нашего времени ни одно не подойдет для определения ее естества. Это нарождающееся поколение в каждую благоприятную минуту своей

жизни убеждается в своей внутренней силе – активной, борющейся, выделяющей, дробящей – и в повышенном чувстве жизни. Можно оспаривать, что эта молодежь уже обладает образованием – но какой молодежи это могло бы быть поставлено в упрек? Можно обвинять ее в грубости и неумеренности – но она еще недостаточно стара и умудрена опытом, чтобы сдерживать свои порывы; да, прежде всего ей нет никакой надобности лицемерно претендовать на законченное образование и защищать его, ибо она имеет право на все утешения и преимущества юности, в особенности на преимущество смелой и не знающей колебаний честности и на утешения воодушевляющей надежды.

Я знаю, что для всех живущих такой надеждой эти обобщения понятны и близки, и их собственный опыт даст им возможность претворить их в личную доктрину. Другие же пусть видят пока только скрытые глубины, которые могут оказаться и не глубокими; придет время, когда они вдруг собственными глазами увидят, что под этими обобщениями скрывались страсти, жизненные силы, требования, которые наконец неудержимо вырвались наружу. Напоминая этим скептикам, что время в конце концов все обнаруживает, я в заключение обращаюсь к этому кругу уповающих, чтобы показать им символически ход и течение их исцеления, их избавления от исторической болезни и вместе с тем их собственную историю вплоть до момента, когда они настолько оправятся от болезни, что смогут снова заняться историей и под верховным руководством жизни использовать прошлое в тройном смысле: монументальном, антикварном или критическом. В этот момент они будут невежественнее наших «образованных» современников, ибо они многое забудут и даже потеряют всякую охоту вообще интересоваться тем, что эти образованные хотели знать прежде всего; отличительными их признаками, с точки зрения образованных, будут служить именно их «необразованность», их равнодушие и замкнутость по отношению ко многому окруженному громкой славой и даже к некоторым хорошим вещам. Но зато они снова станут в этом конечном пункте своего лечения *людьми* и перестанут быть человекоподобными агрегатами, – а это уже чего-нибудь да стоит! В этом заключены надежды! Разве сердце ваше не радуется, – вы, уповающие?

Но как мы достигнем этой цели? – спросите вы. Дельфийский бог напутствует вас в самом начале вашего пути к этой цели изречением: «Познай самого себя». Это трудная заповедь: ибо названный бог «и не говорит, и не утаивает, а подает знаки», как сказал Гераклит. На что же он указывает вам?

В продолжение столетий грекам грозила та же опасность, которой подвергаемся мы, а именно – опасность погибнуть от затопления чужим и прошлым, «историей». Они никогда не жили в гордой изоляции; их «образование», напротив, в течение долгого времени представляло собой хаотическое нагромождение чужеземных, семитских, вавилонских, лидийских, египетских форм и понятий, а религия их изображала настоящую битву богов всего Востока; совершенно так же, например, как теперь «немецкое образование» и религия являют собой хаос борющихся сил всех чужих стран и всего прошлого. И все-таки эллинская культура не превратилась в простой агрегат благодаря упомянутой аполлоновской заповеди. Греки постепенно научились *организовывать хаос*; этого они достигали тем, что в согласии с дельфийским учением снова вернулись к самим себе, то есть к своим истинным потребностям, заглушив в себе мнимые потребности. Этим путем они снова вернули себе обладание собой; они недолго оставались наследниками и эпигонами всего Востока; даже после тяжелой борьбы с самими собою они сумели стать – путем применения на практике этого изречения – счастливейшими обогатителями и множителями унаследованных сокровищ, первенцами и прообразами всех грядущих культурных народов.

Вот символ для каждого из нас: мы должны организовать в себе хаос путем обдуманного возвращения к своим истинным потребностям. Наша честность, все здоровое и правдивое в нашей натуре должны же когда-нибудь возмутиться тем, что нас заставляют постоянно говорить с чужого голоса, учиться по чужим образцам и повторять за другими; мы начнем тогда понимать, что культура может стать чем-то большим, чем просто *декорацией жизни*, то есть, в сущности, лишь известным способом маскировки и прикрытия, ибо всякое украшение скрывает украшаемое. Таким образом, для нас раскрывается истинный характер гре-

ческих представлений о культуре – в противоположность романским, – о культуре как о новой и улучшенной *physis*, без разделения на внешнее и внутреннее, без притворства и условности, о культуре как полной согласованности жизни, мышления, видимости и воли. Так научимся мы на основании собственного опыта понимать, что грекам удалось одержать победу над всеми другими культурами благодаря более высокой силе их *нравственной* природы и что всякое умножение правдивости должно служить также и подготовке и развитию *истинного* образования, хотя бы эта правдивость и могла при случае причинить серьезный ущерб столь высоко ныне ценимой образованности, хотя бы она и повлекла за собой падение целой бутафорской культуры.